

ГЕНРИХ
БЁЛЛЬ

МОЛЧАНИЕ
ДОКТОРА
МУРКЕ



ТЕКСТ

HEINRICH BÖLL

**DOKTOR MURKES
GESAMMELTES SCHWEIGEN**

**und andere
Satiren**

KIEPENHEUER & WITSCH

Генрих Бёлль

**МОЛЧАНИЕ
ДОКТОРА МУРКЕ**

**Иронические
рассказы**

*Перевод с немецкого
С. Фридлянд, Л. Черной,
А. Кабисова*

МОСКВА «ТЕКСТ» 2015

УДК 821.112.2

ББК 84(4Гем)

Б43

ISBN 978-5-7516-1275-7

Originally published in the German language as
«Doktor Murkes gesammeltes Schweigen und andere Satiren»
by Heinrich Böll

Copyright © 1958, 1987, 2013, Verlag Kiepenheuer & Witsch
GmbH & Co. KG, Cologne/Germany

© «Текст», издание на русском языке, 2015

МОЛЧАНИЕ ДОКТОРА МУРКЕ

Каждое утро, едва переступив порог Дома радио, доктор Мурке выполнял одно упражнение экзистенциальной гимнастики: он вскакивал в кабину непрерывно движущегося лифта «патерностер», но, вместо того чтобы выйти на третьем этаже, где помещалась его редакция, проезжал выше — мимо четвертого, пятого, шестого, и всякий раз, когда пол кабины поднимался над уровнем шестого этажа, сама кабина перемещалась в пустом пространстве, а смазанные маслом цепи и кряхтящий ворот с лязгом и скрипом переводили ее из подъемной шахты в спусковую, Мурке испытывал страх; в страхе смотрел он на это единственное, ничем не приукрашенное место во всем здании, а когда кабина, приняв нужное положение и миновав страшное место, начинала плавно

спускаться мимо шестого, пятого, четвертого этажей, Мурке облегченно вздохнул. Он знал, что страх его ни на чем не основан, что ничего плохого с ним не случится, да и не может случиться, а если даже и случится, если даже на худой конец он будет как раз наверху, когда лифт остановится, то и тогда он просидит в кабине час, ну от силы два, только и всего. В кармане у него всегда лежит какая-нибудь книга, есть и сигареты, но с тех пор, как стоит Дом радио, другими словами — за три года лифт еще ни разу нигде не застревал. Стучалось, что лифт ставили на проверку, и тогда приходилось отказываться от привычных четырех с половиной секунд страха. В такие дни Мурке нервничал и у него было скверное настроение, как у человека, которому не удалось позавтракать. Четыре с половиной секунды страха были ему необходимы, как другим необходимы кофе, овсянка или фруктовый сок.

На третьем этаже, где помещался отдел культуры, он выскакивал из лифта в наилучшем расположении духа. Такое расположение знакомо всем, кто любит свою работу и хорошо с ней справляется. Отперев дверь

редакции, он неторопливо подходил к своему креслу, усаживался в него и закуривал сигарету: он всегда первым являлся на службу. Он был молод, неглуп и чрезвычайно обходителен; и даже его высокомерие, которое по временам давало себя знать, даже это высокомерие ему легко прощали, зная, что, во-первых, он неглуп, а во-вторых, изучал психологию и успешно защитил диссертацию.

Но вот уже целых два дня Мурке по некоторым причинам воздерживался от обычной порции страха на завтрак: он приходил к восьми, тотчас мчался в студию и принимался за работу, так как получил от главного редактора задание отредактировать два записанных на пленку выступления великого Бур-Малотке о сущности искусства в соответствии с указаниями самого Бур-Малотке. Дело в том, что Бур-Малотке, которого увлек общий религиозный подъем 1945 года, вдруг «среди ночи», по его собственному выражению, «обуяли сомнения

религиозного порядка», он вдруг осознал свою долю вины за религиозный уклон, в который впало немецкое радиовещание, а потому решил в двух своих получасовых выступлениях о сущности искусства вычеркнуть часто встречающееся там слово «Бог» и заменить его формулировкой, более соответствующей тому образу мыслей, которого Бур-Малотке придерживался до 1945 года; Бур-Малотке предложил главному заменить слово «Бог» выражением «то высшее существо, которое мы чтим», но снова наговаривать всю пленку не пожелал и просил только вырезать слово «Бог» и вклеить вместо него слова «то высшее существо, которое мы чтим». Бур-Малотке состоял в дружеских отношениях с главным, но не дружбой объяснялась уступчивость шефа: Бур-Малотке был не из тех, кому можно перечить. Во-первых, он написал множество книг критико-философско-религиозно-культурно-исторического содержания, во-вторых, сотрудничал в редакциях двух газет и трех журналов и, наконец, занимал должность главного редактора в одном из крупнейших издательств. Бур-Малотке изъ-

явил готовность заехать в Дом радио в среду на четверть часа и столько раз наговорить на пленку «то высшее существо, которое мы чтим», сколько раз встречалось у него слово «Бог». В остальном же он вполне полагался на опыт и техническую сноровку сотрудников.

Шеф не сразу сообразил, кому можно навязать подобную работу; он, правда, сразу подумал о Мурке, но его насторожило именно то обстоятельство, что сразу — шеф был человек здоровый, исполненный жизненной силы, — поэтому он поразмыслил еще минут пять, перебрал в уме Швендлинга, Хумкоке, фройляйн Брольдин и опять вернулся к Мурке.

Шеф не любил Мурке, хотя в свое время он принял Мурке на службу, как только ему его порекомендовали: так директор зоопарка, чье сердце отдано ланям и кроликам, приобретает хищных зверей, потому что какой же это зоопарк без хищников? Но все-таки шеф предпочитал ланей и кроликов, а Мурке был для него хищник с интеллектом. Наконец жизненные силы шефа восторжествовали, и он поручил именно Мурке резать

выступления Бур-Малотке. Оба выступления значились в программе передач на четверг и пятницу, сомнения религиозного порядка обуяли Малотке в ночь с воскресенья на понедельник, тому, кто осмелился бы вступить с ним в спор, лучше было сразу покончить жизнь самоубийством; а главный был слишком полон жизненных сил, чтобы помышлять о самоубийстве.

В понедельник после обеда и во вторник утром Мурке трижды прослушал оба получасовых выступления о сущности искусства, вырезал слово «Бог», а в короткие перерывы вместе с техником молча курил, размышлял о жизненных силах шефа и о низком существе, которое чтит Бур-Малотке. До этого времени он не прочел ни одной строчки Бур-Малотке, не слышал ни одного его выступления. В ночь с понедельника на вторник он видел во сне лестницу, высокую и крутую, как Эйфелева башня, он полез наверх, но вдруг заметил, что ступеньки смазаны мылом, а внизу стоял шеф и кричал: «Ну, смелей, Мурке, смелей, покажите, на что вы способны!» В ночь со вторника на среду ему привиделся похожий сон: будто

он попал на народное гулянье, решил прокатиться на «американских горках» и заплатил за вход тридцать пфеннигов какому-то человеку, чье лицо показалось ему знакомым. Но когда он поднялся на «американские горки», то убедился, что высотой они не меньше десяти километров, а повернуть назад уже нельзя, и тут его осенило: человек, взявший с него тридцать пфеннигов, был сам шеф.

Естественно, что после таких снов Мурке уже не испытывал потребности в безобидной утренней порции страха к завтраку.

Была уже среда. Этой ночью ему не снились ни мыло, ни «американские горки», ни шеф. Улыбаясь, он вошел в Дом радио, вскочил в «патерностер», поднялся до седьмого этажа — четыре с половиной секунды страха, лязг цепей, ничем не украшенное место, — потом спустился на пятый, выпрыгнул и пошел в студию, где договорился встретиться с Бур-Малотке.

Без двух минут десять он сел в зеленое кресло, поздоровался с техником и закурил сигарету. Спокойно дыша, он вынул из нагрудного кармана записку и взглянул на часы: Бур-Малотке был пунктуален, во всяком случае, о его пунктуальности ходили легенды, и, когда секундная стрелка отметила шестидесятую секунду, минутная переползла на двенадцать, а часовая — на десять, дверь распахнулась и в студию вошел Бур-Малотке. Мурке с любезной улыбкой встал навстречу Бур-Малотке и назвал себя. Бур-Малотке пожал ему руку, тоже улыбнулся и сказал:

— Что ж, начнем!

Мурке взял со стола записку, сунул в рот сигарету и, заглянув в бумажку, сказал:

— В ваших выступлениях «Бог» встречается ровно двадцать семь раз. Следовательно, я должен просить вас двадцать семь раз сказать то, что нам надо вклеить вместо «Бога». Мы были бы вам признательны, если бы вы наговорили тридцать пять раз, чтобы при расклейке у нас имелся некоторый запас.

— Согласен, — улыбнулся Бур-Малотке и сел.

— Тут, правда, есть одно затруднение, — продолжал Мурке. — В вашем выступлении слово «Бог» не требовало согласования с другими словами, а вот «то высшее существо, которое мы чтим» потребует согласования существительного с указательным местоимением и прилагательным. У нас здесь насчитывается, — он любезно улыбнулся Бур-Малотке, — десять именительных падежей и пять винительных, то есть пятнадцать раз надо сказать «то высшее существо, которое мы чтим», затем пять дательных, то есть «тому высшему существу, которое мы чтим», и, наконец, семь родительных: «того высшего существа, которое мы чтим». Остается еще звательный падеж — там, где вы говорите: «О Боже!» Я позволил бы себе предложить вам сохранить звательный падеж и сказать: «О ты, высшее существо, которое мы чтим!»

Бур-Малотке явно не предвидел этих затруднений, он даже вспотел: история с падежами его крайне опечалила.

Мурке любезно продолжал:

— В общей сложности, если двадцать семь раз произнести вставленные слова, это

займет одну минуту двадцать секунд, тогда как слово «Бог», повторенное двадцать семь раз, занимало всего двадцать секунд. Следовательно, из-за внесенных дополнений нам придется сократить каждую передачу на полминуты за счет других слов.

Бур-Малотке вспотел еще сильнее. Мысленно он выругал себя за непрошенные сомнения религиозного порядка, а вслух спросил:

— Вы уже вырезали «Бога»?

— Да, — ответил Мурке, вытащил из кармана жестяную коробочку из-под сигарет, открыл ее и показал Бур-Малотке: там лежали крошечные темные обрезки пленки. Мурке тихо сказал: — Вот «Бог», которого вы наговорили двадцать семь раз. Возьмете себе?

— Нет! — свирепо ответил Бур-Малотке. — Спасибо, я поговорю с шефом относительно этих полуминут. Какие передачи идут после меня?

— Завтра, — сказал Мурке, — передача из цикла «Обзор культурной жизни», ведет доктор Грем.

— Проклятие! — выругался Бур-Малотке. — С Гремом не договоришься!

— А послезавтра, — продолжал Мурке, — за вашим выступлением идет передача «Мы пустились в пляс».

— Ведет Хуглиме! — простонал Бур-Малотке. — В жизни еще не бывало, чтобы отдел развлечений уступил культуре хоть десять секунд.

— Да, — подтвердил Мурке, — не бывало, по крайней мере... — он постарался придать своему юношескому лицу выражение безграничной скромности, — по крайней мере с тех пор, как я здесь работаю.

— Ладно, — сказал Малотке и взглянул на часы, — за десять минут мы, вероятно, управимся, потом я поговорю с главным насчет своей минуты. Начнем же. Вы можете мне дать вашу записочку?

— С удовольствием, — ответил Мурке, — я все цифры уже знаю наизусть.

Когда Мурке вошел в застекленную кабину, техник отложил газету. Он улыбнулся Мурке. За шесть часов совместной работы в понедельник и вторник, когда они прослушивали выступления Бур-Малотке и вырезали слово «Бог», Мурке и техник не обменялись ни единым словом, не относящимся

к работе. Они только посматривали друг на друга и в перерывах протягивали друг другу пачку сигарет — то техник Мурке, то Мурке технику; но когда теперь Мурке увидел его улыбку, он подумал: «Если существует на свете дружба, этот человек мне друг». Потом он положил на стол жестяную коробку с обрезками выступления Бур-Малотке и сказал вполголоса:

— Сейчас начнется.

Мурке включил студию и сказал в микрофон:

— Я считаю, господин профессор, что мы можем обойтись без пробы. Давайте сразу приступим. Я просил бы вас начать с именительного.

Бур-Малотке кивнул. Мурке отключился, нажал кнопку, отчего в студии вспыхнула зеленая лампочка, и они слышали торжественный и хорошо поставленный голос: «То высшее существо, которое мы чтим», «то высшее существо...»

Губы Малотке тянулись к овальной рожнице микрофона, словно он хотел поцеловать ее, пот струился по лицу Малотке, а Мурке сквозь стекло хладнокровно наблюдал за его

терзаниями. Потом он вдруг отключил магнитофон, дал докрутиться до конца пленке, на которую записывал Малотке, и несколько секунд молча и с наслаждением рассматривал его сквозь стекло, как толстую красивую рыбу. После чего он включил студию и спокойно сказал:

— Очень сожалею, но пленка оказалась дефектной. Я попрошу вас повторить именительные падежи.

Бур-Малотке разразился проклятиями, но это были немые проклятия, которые мог слышать только он один, потому что Мурке снова отключил студию и включил лишь тогда, когда Малотке начал говорить «то высшее существо...».

Мурке был слишком молод и считал себя слишком культурным, чтобы любить слово «ненависть», но здесь, глядя через стекло на Бур-Малотке, уже перешедшего к родительному падежу, он вдруг понял, что это такое: он ненавидел этого высокого, толстого, представительного человека, книги которого тиражом в два миллиона триста пятьдесят тысяч экземпляров наводняли библиотеки, книжные шкафы и книжные

магазины, — ненавидел и даже не пытался подавить свою ненависть. После того как Бур-Малотке наговорил два родительных падежа, Мурке опять подключился к студии и спокойно сказал:

— Простите, что я вас перебиваю, имени-
тельный падеж просто превосходен, пер-
вый родительный тоже, но вот второй я
попросил бы вас повторить чуть помягче,
поровней, сейчас я вам прокручу все сна-
чала.

И хотя Бур-Малотке решительно замо-
тал головой, Мурке дал технику знак пере-
ключить магнитофон на студию.

Они видели, как Бур-Малотке вздрог-
нул, опять покрылся потом, зажал уши и
не открывал их, пока лента не кончилась.
Потом он что-то сказал, но Мурке с техни-
ком выключили его и ничего не слышали.
Мурке хладнокровно выжидал и, увидев
по губам Малотке, что тот опять приступил
к «высшему существу», запустил пленку,
и Малотке принялся за дательный: «Тому
высшему существу, которое мы чтим...»

Покончив с дательным, разъяренный
Бур-Малотке скомкал записку Мурке и,

вытирая пот, пошел к дверям, но вкрадчивый и приветливый голос Мурке остановил его. Мурке сказал:

— Господин профессор, вы забыли про звательный падеж.

Бур-Малотке с ненавистью поглядел на него, вернулся и сказал в микрофон:

— О ты, высшее существо, которое мы чтим!

Затем он снова направился к двери, но голос Мурке снова остановил его.

— Простите, господин профессор, — заметил Мурке, — но эта фраза, произнесенная таким образом, никуда не годится.

— Ради Бога, — шепнул техник, — не хватите через край!

Бур-Малотке спиной к стеклянной кабине застыл у дверей, словно голос Мурке пригвоздил его к месту. С ним случилось то, чего не случалось никогда: он растерялся. Этот молодой, приветливый, безукоризненно корректный голос терзал его, как не терзало ничто и никогда.

Мурке продолжал:

— Я, конечно, могу вклеить и в таком виде, но позвольте вам заметить, господин про-

фессор, это произведет нехорошее впечатление.

Бур-Малотке повернулся, подошел к микрофону и сказал негромко и торжественно:

— О ты, высшее существо, которое мы чтим!

Не глядя на Мурке, он вышел из студии. Было ровно четверть одиннадцатого, и в дверях он столкнулся с молодой хорошенькой женщиной, которая держала в руках ноты. Волосы у нее были рыжие, вид — самый цветущий. Она энергично подошла к микрофону, повернула его и отодвинула стол, чтобы удобней было стоять перед микрофоном. В камере Мурке полминуты разговаривал с Хуглиме — редактором отдела развлечений. Указывая на коробку из-под сигарет, Хуглиме спросил:

— Она вам еще нужна?

И Мурке ответил:

— Да, она мне еще нужна.

А в студии уже пела рыжеволосая молодая женщина:

Целуй мои губы такие, как есть,
Они ведь и так хороши.

Хуглиме подключился к студии и спокойно сказал:

— Закрой варежку секунд на двадцать, я еще не совсем готов.

Женщина засмеялась, надула губы и ответила:

— Ах ты, извращенец!

— Я вернусь в одиннадцать, мы разрежем ленту и подклеим все, как надо, — сказал Мурке технику.

— А прослушивать будем? — спросил техник.

— Нет, — ответил Мурке, — я и за миллион марок не стану это еще раз слушать.

Техник кивнул, поставил ленту для рыжеволосой певицы, а Мурке ушел.

Он сунул в рот сигарету, но закуривать не стал, пересек холл в обратном направлении ко второму лифту, который находился в южной части здания и на котором спуска-

лись в буфет. Ковры, мебель, холлы, картины — все раздражало его. Это были красивые холлы, красивые ковры, красивая мебель и со вкусом подобранные картины, но Мурке вдруг захотелось увидеть где-нибудь на стене лубочную картинку с изображением Сердца Христова, которую прислала ему мать. Он остановился, огляделся по сторонам, прислушался, вытащил картинку из кармана и засунул ее под край обоев у двери, ведущей в комнату помощника режиссера редакции литературно-драматических передач. Картинка была пестрая, аляповатая, и под изображением Сердца Христова стояло: «Я молилась за тебя в церкви Святого Иакова».

Мурке дошел до «патерностера», вскочил в кабину и поехал вниз. Эта часть Дома радио уже была оснащена пепельницами Шрершнауца, которые получили первую премию на конкурсе пепельниц. Они висели около каждой светящейся красной цифры, обозначавшей этаж: красная четверка — и рядом пепельница Шрершнауца, красная тройка — и рядом пепельница Шрершнауца, красная двойка — и рядом пепельница Шрершнауца. Это были красивые медные

пепельницы в форме раковины на медной же подставке, изображавшей какое-то морское растение, что-то вроде узловатых, причудливых водорослей, и каждая такая пепельница стоила двести пятьдесят восемь марок семьдесят семь пфеннигов. Они были до того хороши, что Мурке еще ни разу не дерзнул осквернить это произведение искусства пеплом сигареты или, того хуже, чем-нибудь неэстетичным, например окурком. Все курильщики, видимо, испытывали то же самое: пустые коробки из-под сигарет, окурки и пепел постоянно усеивали пол под этими красивыми предметами: обращаться с ними как с простыми пепельницами никто не осмеливался; они были медные, сверкающие и всегда пустые.

Мурке увидел приближающуюся пятую пепельницу, а рядом с ней красный ноль: потянуло теплом и запахом кухни. Мурке выпрыгнул и, пошатываясь, вошел в буфет.

В углу за одним столом сидели три внештатных сотрудника. Стол был заставлен рюмками для яиц, тарелками с хлебом и кофейниками. Все трое сообща составили серию передач «Легкое — внутренний орган

человека», сообща получили гонорар, сообща позавтракали, сообща пропустили по рюмочке и теперь обсуждали налоговые проблемы. Одного из них — Вендриха — Мурке хорошо знал, но Вендрих как раз воскликнул: «Искусство!» — и опять: «Искусство! Искусство!» Мурке испуганно дернулся, как лягушка, на которой Гальвани изучал действие электрического тока. Слово «искусство» встречалось в выступлениях Бур-Малотке ровно сто тридцать четыре раза, Мурке три раза прослушал каждое выступление, следовательно, слово «искусство» он слышал четыреста два раза, а это слишком много, чтобы испытывать хотя бы малейшее желание побеседовать об искусстве. Потому он пробрался крадучись мимо стойки к нише в противоположном углу зала и облегченно вздохнул, увидев, что она никем не занята.

Усевшись в желтое мягкое кресло, Мурке раскурил сигарету и, когда к нему подошла Вулла, официантка, сказал:

— Яблочного сока, пожалуйста.

К его радости, Вулла сразу же отошла. Он закрыл глаза, но невольно прислушивался к разговору внештатников: там уже разго-

релся яростный спор об искусстве. Каждый раз, когда кто-нибудь из троих выкрикивал «искусство», Мурке вздрагивал. «Как от удара кнутом», — подумал он.

Вулла принесла яблочный сок и озабоченно посмотрела на него. Она была крупная и сильная, но не толстая, со здоровым и веселым лицом. Переливая сок из графина в стакан, она сказала:

— Вам надо бы взять отпуск, господин доктор, и потом, бросить курить.

Раньше ее звали Вильфрида-Улла, но для простоты свели оба имени в одно — Вулла. К работникам отдела культуры Вулла относилась с особым почтением.

— Оставьте меня! — сказал Мурке. — Пожалуйста, оставьте меня!

— И еще вам надо бы сходить в кино с какой-нибудь немудрящей хорошей девушкой, — продолжала Вулла.

— Я это сделаю сегодня же вечером, — ответил Мурке, — даю вам слово.

— И вовсе не обязательно идти с какой-нибудь шлюшкой, — сказала Вулла, — на свете еще найдется немало простых, хороших девушек с любящим сердцем.

— Знаю, что найдется, — сказал Мурке, — я думаю, что даже знаком с одной из них.

«Ну то-то же!» — подумала Вулла и подошла к авторам передачи «Легкое — внутренний орган человека», из которых один заказал три рюмки водки и три чашки кофе.

«Бедняги, — подумала она, — совсем свихнулись из-за своего искусства». Вулла очень любила внештатных сотрудников и изо всех сил старалась приучить их к бережливости. «Ведь вот не уймутся, пока не спустят все до последнего пфеннига», — подумала она и, неодобрительно покачивая головой, передала буфетчику заказ: три рюмки водки и три чашки кофе.

Мурке хлебнул сока, ткнул сигарету в пепельницу и с ужасом представил себе, как между одиннадцатью и часом они будут резать на куски сегодняшнюю запись голоса Бур-Малотке и потом клеивать их в его выступление. В два часа главный желает прослушать оба монтажа у себя. Мурке вспомнил про мыло, про лестницу, крутую лестницу, и про «американские горки», потом про жизненные силы шефа, потом про Бур-Малотке и перепугался, увидев входя-

щего в столовую Швендлинга. Облаченный в клетчатую рубашку — крупные красные и черные клетки, — Швендлинг решительно направился к нише, где притаился Мурке. Он напевал популярный шлягер «Целуй мои губы такие, как есть...», но, увидев Мурке, запнулся и сказал:

— А, это ты? Я-то думал, что ты кромсаешь болтовню Бур-Малотке.

— В одиннадцать опять начнем, — отвечал Мурке.

— Вулла, кружку пива! — рявкнул Швендлинг, повернувшись к стойке. — Поллитровую. — И продолжал, снова обращаясь к Мурке: — Ты заслужил внеочередной отпуск. Представляю себе, какой это ужас! Старик рассказывал мне, в чем там дело.

Мурке промолчал, и Швендлинг добавил:

— Ты знаешь последние новости о Муквице?

Сперва Мурке вяло помотал головой, потом из вежливости спросил:

— Какие новости?

Вулла принесла пиво. Швендлинг выпил, отдышался и медленно изрек:

— Муквиц делает передачу про тайгу.

Мурке засмеялся и спросил:

— А Фенн?

— Фенн делает передачу про тундру, — ответил Швендлинг.

— А Вегтухт?

— Вегтухт делает передачу про меня, а потом я про него, ибо сказано: сделай передачу из меня — я сделаю передачу из тебя...

Один из внештатных сотрудников вдруг вскочил и заорал на всю столовую:

— Искусство! Искусство! Искусство! Вот основа основ!

Мурке втянул голову в плечи, точно солдат, слышавший из вражеского окопа треск выстрелов. Он глотнул соку и снова вздрогнул, потому что из громкоговорителя раздался голос:

— Доктор Мурке, вас ожидают в студии номер тринадцать. Доктор Мурке, вас ожидают в студии номер тринадцать.

Мурке взглянул на часы. Всего половина одиннадцатого, но неумолимый голос продолжал:

— Доктор Мурке, вас ожидают в студии номер тринадцать. Доктор Мурке, вас ожидают в студии номер тринадцать.

Громкоговоритель висел над стойкой, чуть пониже лозунга, выведенного на стене по приказу главного: «Дисциплина — это все!»

— Ну, ступай, — сказал Швендлинг. — Тут уж ничего не поделаешь.

— Верно, — ответил Мурке, — тут уж ничего не поделаешь.

Он встал, положил на столик деньги за сок, проскользнул мимо спорящих, вскочил в «патерностер» и снова поехал вверх мимо пяти пепельниц Шрершнауца, снова увидел Христово Сердце возле двери помрежа и подумал: «Ну, слава Богу, теперь на радио есть хоть одна безвкусная картина!»

Открыв дверь в студию, Мурке увидел техника, спокойно сидевшего перед четырьмя коробками, и устало спросил:

— Ну, в чем дело?

— Они управились раньше, чем рассчитывали, и мы выиграли полчаса, — сказал техник. — Я думал, вы захотите воспользоваться этим получасом.

— Конечно, захочу, — ответил Мурке. — У меня в час свидание. Давайте начнем. Что это за коробки?

— У меня для каждого падежа своя коробка, — ответил техник. — В первой — именительный и винительный, во второй — родительный, в третьей — дательный, а в этой, — он указал на крайнюю справа маленькую коробочку с надписью «Натуральный шоколад», — в этой оба звательных падежа: справа — удачный, слева — бракованный.

— Замечательно! — сказал Мурке. — Значит, вы уже успели разрезать это дерьмо на части?

— Да, — ответил техник. — И если вы записали, в каком порядке клеивать падежи, мы управимся за какой-нибудь час. Вы записали?

— Да, — сказал Мурке. Он достал из кармана записку, на которой столбиком были выписаны цифры от «1» до «27», а против каждой цифры — название падежа.

Мурке сел, протянул технику сигареты. Пока закуривали, техник вставил в аппарат кусок ленты с выступлением Бур-Малотке.

— Сначала винительный... — начал Мурке.

Техник сунул руку в первую коробку, вытащил отрезок ленты и вклеил в нужное место.

— Теперь дательный, — сказал Мурке.

Работа шла быстро, и Мурке с облегчением вздохнул, убедившись, что никаких затруднений не предвидится.

— Так, теперь звательный, — продолжал Мурке. — Возьмем, разумеется, тот, что похуже.

Техник рассмеялся и вклеил в пленку бракованный звательный падеж Бур-Малотке.

— Дальше что? — спросил он.

— Родительный, — ответил Мурке.

Главный редактор имел обыкновение добросовестно прочитывать все письма радиослушателей. То, которое он читал сейчас, было следующего содержания:

Дорогое радио! У тебя наверняка нет более преданной слушательницы, чем я. Я уже пожилая женщина: мне семьдесят семь лет.

Я слушаю тебя ежедневно вот уже тридцать лет и никогда не скупилась на похвалы. Ты, может, помнишь мое письмо о твоей передаче «Семь душ коровы Кавейды». Это была чудесная передача. Но теперь я на тебя сердита. Меня просто начинает возмущать то пренебрежение, с которым наше радиовещание относится к собачьей душе. И это ты называешь гуманизмом? У Гитлера были, конечно, свои недостатки; если верить всему, что о нем говорят, это вообще был ужасный человек, но одного у него нельзя отнять: он любил собак и немало для них сделал. Когда же наконец собака займет подобающее ей место в немецком радиовещании?.. Твою передачу «Как кошка с собакой» нельзя в этом смысле признать удачной, любая собака сочла бы ее оскорблением. Если бы мой Лоэнгринчик умел говорить, уж он бы тебе ответил. Он так лаял, когда слушал твою возмутительную передачу, так лаял, что можно было просто сгореть со стыда. Я честно плачу за свой приемник две марки в месяц, как и все слушатели, а поэтому хочу воспользоваться своим правом и задать тебе вопрос: «Когда наконец собачья душа займет подобающее место в немецком радиовещании?»

С дружеским приветом — хотя я очень тобой недовольна —

Ядвига Херхен, домохозяйка.

P.S. А если никто из тех циничных субъектов, которые пишут для тебя передачи, не сумеет достойным образом воспеть собачью душу, прилагаю к сему свои скромные опыты. Гонорара мне не надо. Можешь передать его Обществу покровительства животным.

Приложение: 35 рукописей.

Твоя Я. Х.

Шеф вздохнул, пошарил у себя на столе, но рукописей не обнаружил: секретарша, должно быть, уже успела их убрать. Тогда он набил трубку, зажег ее и, облизнув витальные губы, попросил коммутатор соединить его с Кроши. Кроши занимал малюсенький кабинетик с малюсеньким, но красивым письменным столиком наверху, в отделе культуры. Он вел на радио рубрику, малюсенькую, как и его столик, — «Культура и животные».

— Послушайте, Кроши, — изрек шеф, когда Кроши скромно произнес: «У телефона», — когда мы давали последний раз передачу про собак?

— Про собак? — повторил Кроши. — По-моему, господин редактор, ни разу не давали, при мне, во всяком случае, нет.

— А вы давно у нас работаете? — спросил шеф, и Кроши затрепетал, потому что

у шефа вдруг сделался вкрадчивый голос, а он хорошо знал: если у шефа делается вкрадчивый голос, добра не жди.

— Десять лет, господин редактор, — сказал Кроши.

— Черт знает что, — возмутился шеф, — за десять лет ни одной передачи про собак! В конце концов, вы ведете эту рубрику! Как называлась ваша последняя передача?

— Моя по-по-последняя передача... — Кроши запнулся.

— Вам незачем повторять мои слова, — сказал шеф, — мы с вами не в армии.

— «Сычи на развалинах», — робко сказал Кроши.

— Даю вам три недели сроку, — изрек шеф, и голос его опять стал вкрадчивым, — подготовьте за это время передачу про собачью душу.

— Слушаюсь, — ответил Кроши, и в телефоне щелкнуло: это шеф положил трубку. Потом Кроши глубоко вздохнул и сказал: — Господи ты Боже мой!

А шеф взялся за очередное письмо.

Тут вошел Бур-Малотке. Он мог позволить себе входить в любое время без докла-

да и позволял себе это частенько. Он до сих пор был весь в поту и, тяжело опустившись на стул против главного, сказал:

— Итак, доброе утро.

— Доброе утро! — отозвался главный, отложив в сторону письмо радиослушателя. — Чем могу служить?

— Я прошу вас об одной-единственной минуте, — сказал Бур-Малотке.

— Бур-Малотке! — вскричал главный и сделал великолепный витальный жест. — Вам ли просить у меня минуту! Располагайте моими часами, днями, всем моим временем!

— Да нет, — сказал Бур-Малотке, — речь идет не о простой минуте, а о радиоминуте. Моя речь из-за внесенных в нее изменений стала длинней на одну минуту.

Главный стал серьезным, как сатрап, раздающий провинции.

— Надеюсь, после вас не политическая передача? — кисло спросил он.

— Нет, — ответил Бур-Малотке, — полминуты я прихвачу у местного отдела и полминуты — у развлечений.

— Слава Богу, — сказал главный, — у отдела развлечений перерасход в семьдесят

девять секунд, а у местного — в восемьдесят три. Бур-Малотке, я охотно дарю вам эту минуту.

— Мне просто совестно, — сказал Бур-Малотке.

Редактор повторил свой великолепный жест, но на этот раз как сатрап, уже раздавший провинции.

— Чем еще могу служить?

— Я был бы вам очень признателен, — ответил Бур-Малотке, — если бы мы при случае могли подправить все записи моих выступлений, начиная с сорок пятого года. Настанет день, — он провел рукой по лбу и горестно взглянул на подлинного Брюллера над столом редактора, — настанет день, когда и я... — и он опять умолк: столь прискорбен был для потомков факт, о котором он хотел поведать, — ...когда и я покину этот мир... — новая пауза, давшая редактору возможность ужаснуться и замахать руками, — и для меня невыносима мысль, что после моей смерти, быть может, будут передаваться выступления, где я излагаю взгляды, которых более не придерживаюсь. Особенно ужасно, что в

угаре сорок пятого года я дал подстрекнуть себя на высказывания, которые теперь кажутся мне в высшей степени сомнительными и которые я могу объяснить только юношеской пылкостью, отличающей все мои произведения. Сейчас идет корректура моих печатных трудов, я прошу вас в ближайшем будущем предоставить мне возможность внести поправки и в мои радиовыступления.

Редактор промолчал, слегка откашлялся, и мелкие капельки пота выступили у него на лбу: он успел прикинуть в уме, что с 1945 года Бур-Малотке каждый месяц давал на радио по крайней мере часовую передачу, а если двенадцать часов умножить на десять, получится сто двадцать часов сплошного Бур-Малотке.

— Только низкие души, — сказал Бур-Малотке, — могут считать педантичность недостойной гения. Но мы знаем, — редактор был явно польщен, ибо это «мы» причисляло его к разряду высоких душ, — мы знаем, что истинные, что величайшие гении всегда были педантами. Химмельсхайм велел однажды за свой счет заново набрать

«Seelon» только потому, что три или четыре предложения в середине книги не соответствовали более его новым взглядам. Для меня нестерпима мысль, что в эфир будут передаваться выступления, содержащие взгляды, которых я уже не разделял к моменту своей неизбежной кончины... Просто нестерпима! Какой же выход из положения вы мне предложите?

Капли пота на лбу у редактора заметно увеличились.

— Надо бы составить перечень ваших передач и потом проверить в архиве, все ли эти пленки целы, — тихо сказал он.

— Полагаю, что ни одна пленка с моим выступлением не могла быть уничтожена без того, чтобы меня не поставили в известность, — ответил Бур-Малотке. — А меня никто не ставил в известность, и, следовательно, все пленки целы.

— Я все организую, — сказал главный.

— Да уж, пожалуйста, организуйте, — сухо заметил Бур-Малотке и встал. — Всего хорошего.

— Всего хорошего, — ответил редактор и проводил Бур-Малотке до дверей.

Внештатные сотрудники решили заодно и пообедать. За это время они успели еще больше выпить и еще больше наговорить об искусстве. Разговор об искусстве велся с прежним пылом, хотя и принял более мирное направление. Когда в буфет вошел Вандербурн, они испуганно вскочили. Вандербурн был писатель, рослый, симпатичный, с меланхолическим лицом, уже отмеченным печатью славы. Сегодня он не брился, отчего выглядел еще симпатичнее. Вандербурн медленными шагами приблизился к их столу и в полном изнеможении опустился на стул.

— Ребята, — сказал Вандербурн, — дайте мне чего-нибудь выпить. В этом заведении мне всегда кажется, будто я вот-вот умру от жажды.

Ему дали остатки водки, смешанные с остатками минеральной воды. Вандербурн хлебнул, отставил стакан, по очереди обвел взглядом всех троих и сказал:

— Бегите от радио: это просто нужник, нарядный, разукрашенный, напوماженный нужник! Радио всех нас загонит в гроб!

Предостережение было самое искреннее и глубоко потрясло молодых людей. Правда, ни один из них не знал, что Вандербурн только что побывал в кассе, где получил изрядный куш за незначительную переработку книги Иова.

— Они режут нас, высасывают из нас все соки, потом они нас расклеивают, и никому из нас этого не выдержать.

Вандербурн допил свой стакан, встал и направился к двери; плащ его меланхолически развевался на ходу.

В двенадцать Мурке кончил расклейку. Как только они вклеили последний кусок — дательный падеж, — Мурке встал со стула; он уже взялся за дверную ручку, но тут техник сказал:

— Хотел бы и я иметь такую же чуткую и дорогостоящую совесть. А с этим что делать?

Он указал на жестяную коробку из-под сигарет, которая стояла на полке между картонками с неиспользованной пленкой.

— Пусть стоит, — ответил Мурке.

— Зачем?

— Может, еще понадобится.

— Вы допускаете, что его опять охватят сомнения?

— Кто знает? — сказал Мурке. — Лучше подождем. До свидания.

Мурке пошел к переднему «патерностеру», спустился на третий этаж и впервые за весь день переступил порог своей редакции. Секретарша ушла обедать. Заведующий редакцией Хумкоке сидел у телефона и читал книгу. Увидев Мурке, он улыбнулся и встал.

— Ну как, вы еще живы? Скажите, это ваша книга? Это вы ее положили на письменный стол? — Он показал книгу Мурке, и тот ответил:

— Да, моя.

Книга была в серо-зелено-оранжевой суперобложке и называлась «Источники лирики Бэтли». Речь в ней шла о молодом английском поэте, который сто лет назад составил каталог лондонского сленга.

— Превосходная книга, — сказал Мурке.

— Да, — согласился Хумкоке, — книга превосходная, но вы так никогда и не пой-

мете... — (Мурке вопросительно посмотрел на него) — ...не поймете, что нельзя оставлять на столе превосходные книги, если может зайти Вандербурн, а он может зайти в любую минуту. Он ее сразу же заприметил, раскрыл, полистал пять минут, и, как по-вашему, что мы имеем в результате? — (Мурке молчал.) — В результате мы имеем две часовые передачи Вандербурна о книге «Источники лирики». Этот человек в один прекрасный день сделает передачу из своей собственной бабушки. А самое страшное, что одна из его бабушек была также и моей бабушкой. Итак, Мурке, запомните раз и навсегда: никаких превосходных книг на столе, когда может зайти Вандербурн, а я повторяю вам: он может зайти в любую минуту! Теперь вы свободны, ступайте и отдохните остаток дня. Я считаю, что вы вполне заслужили небольшой отдых. А эта дребедень готова? Вы ее прослушали еще раз?

— Готова, — ответил Мурке, — а прослушивать еще раз я просто не в силах.

— Не в силах — это, знаете ли, звучит как-то по-детски, — сказал Хумкоке.

— Если я сегодня еще раз услышу слово «искусство», у меня будет истерика.

— У вас и так истерика, — сказал Хумкоке. — Впрочем, у вас есть для этого все основания. Три часа сплошного Бур-Малотке могут dokonать даже самого сильного человека, а вы не такой уж сильный человек.

Бросив книгу на стол, он подошел к Мурке поближе и продолжал:

— Когда я был в вашем возрасте, мне поручили однажды сократить на три минуты четырехчасовую речь Гитлера. Я трижды прослушал эту речь, прежде чем мне дозволили предложить, какие именно три минуты надо вырезать. Когда мы запустили пленку в первый раз, я был еще убежденным нацистом. После третьего раза я уже не был нацистом. Это было мучительное, это было жестокое, но весьма эффективное лечение.

— Вы забываете, — возразил Мурке, — что от Бур-Малотке я излечился еще до того, как прослушал запись его выступления.

— Ну и фрукт же вы! — засмеялся Хумкоке. — Ладно, идите. Главный будет прослушивать запись в два часа. Так что до трех вы должны быть в пределах досягаемо-

сти на случай, если что-нибудь окажется не в порядке.

— От двух до трех я буду дома, — ответил Мурке.

— И еще одно, — сказал Хумкоке, снимая с полки возле стола Мурке желтую коробку из-под печенья. — Что за обрезки вы здесь храните?

Мурке покраснел.

— Это... — начал он, — это... я собираю своего рода остатки.

— Какого же рода? — полюбопытствовал Хумкоке.

— Молчание, — ответил Мурке, — я собираю молчание.

Хумкоке вопросительно взглянул на него. И Мурке пояснил:

— Когда мне приходится вырезать из ленты те места, где выступающие почему-либо молчали, делали паузу, вздыхали, переводили дух или просто безмолвствовали, я не выбрасываю их в корзину, а собираю. Но у Бур-Малотке я не нашел ни секунды молчания.

Хумкоке рассмеялся.

— Ясно, этот молчать не станет. А на что вам эти обрезки?

— Я склеиваю их и потом запускаю пленку, когда вечером прихожу домой. У меня пока набралось очень мало — всего три минуты, но ведь и молчат у нас очень мало.

— Должен вам заметить, что уносить домой куски пленок строго запрещается.

— Даже молчание? — спросил Мурке.

Хумкоке рассмеялся и сказал:

— Ну, идите, идите!

Мурке ушел.

Когда в самом начале третьего главный редактор зашел в студию, там как раз началось прослушивание первого выступления Бур-Малотке:

«...и где только, как только, почему только и когда только разговор ни зайдет о сущности искусства, мы прежде всего должны обратить взоры к тому высшему существу, которое мы чтим, должны склониться перед тем высшим существом, которое мы чтим, и принять искусство как великую милость

из рук того высшего существа, которое мы чтим. Искусство...»

«Нет, — подумал редактор, — я просто не могу заставить кого-нибудь сто двадцать часов слушать Бур-Малотке! Есть вещи, которые просто выше сил человеческих, даже Мурке я этого не пожелаю!»

Редактор вернулся в свой кабинет и включил громкоговоритель. Из рупора послышался голос Бур-Малотке: «О ты, высшее существо, которое мы чтим...»

«Нет, — подумал редактор, — нет, ни за что...»

Мурке лежал на диване и курил. Возле него на стуле стояла чашка чая. Мурке смотрел в белый потолок. У его письменного стола сидела прехорошенькая блондинка и неподвижным взглядом смотрела в окно.

На низком столике между Мурке и девушкой стоял включенный магнитофон. Но Мурке и девушка молчали, в комнате царила полная тишина. Девушка была так

хороша и неподвижна, что могла бы служить отличной фотомodelью.

— Я больше не могу, — сказала вдруг девушка, — не могу, и все. То, что ты требуешь, просто бесчеловечно. Есть мужчины, которые заставляют девушек делать всякие гадости, но, честное слово, то, что меня заставляешь делать ты, еще хуже.

Мурке вздохнул.

— О Господи, — сказал он. — Рина, дорогая, теперь мне придется вырезать все, что ты тут наболтала. Будь умницей, намолчи мне еще хоть пять минуток!

— Намолчи! — промолвила девушка. Она сказала это таким тоном, который тридцать лет назад можно было бы назвать нелюбезным. — Намолчи! Это тоже твоя выдумка! Я с радостью наговорила бы пленку, но намолчать?!

Мурке поднялся с дивана и выключил магнитофон.

— Ах, Рина, Рина, — сказал он, — знала бы ты, как дорого мне твое молчание! По вечерам, когда я, усталый, сижу один

дома, я включаю запись молчания. Ну будь хорошей девочкой, намолчи хоть три минуты, чтобы мне не пришлось резать. Ты ведь знаешь, что для меня значит резать.

— Ладно, — сказала девушка. — По крайней мере дай мне сигарету.

Мурке улыбнулся, поцеловал девушку в лоб, дал ей сигарету, сказал:

— Как у меня здорово получается — целых два молчания, ты и в жизни молчишь, и на пленке, — и включил аппарат.

Так они и сидели, не говоря ни слова, пока не зазвонил телефон.

Мурке опять выключил аппарат, беспомощно пожал плечами, подошел к телефону и снял трубку.

— Привет, — сказал Хумкоке. — Оба выступления сошли гладко. По крайней мере шеф ни к чему не придрался. Можете идти в кино. И не забывайте про снег.

— Какой там еще снег? — крикнул Мурке, взглянув на улицу, залитую ослепительным летним солнцем.

— Господи! — возмутился Хумкоке. — Вы же знаете, что нам пора думать о зимней программе. Мне нужны снежные песни, снежные рассказы. Нельзя всю жизнь сидеть на Шуберте и Штифтере, а никому даже в голову не приходит об этом позаботиться! Мы не напасемся снежных передач, если будет долгая и суровая зима. Сообразите-ка что-нибудь снежненькое!

— Хорошо, — ответил Мурке, — соображу. Но Хумкоке уже повесил трубку.

— Пошли! — сказал Мурке девушке. — Теперь мы можем идти в кино.

— И мне можно говорить?

— Сделай одолжение!..

А в это самое время помощник режиссера редакции литературно-драматических передач последний раз прослушивал сегодняшнюю вечернюю передачу. Передача ему понравилась, если не считать конца.

Помощник режиссера задумчиво сидел в застекленной камере студии № 13 рядом с техником и, жуя спичку, еще раз просматривал текст:

(Голос раздается под сводами пустой и огромной церкви.)

А т е и с т (говорит громко и отчетливо). Кто вспомнит обо мне, когда я стану добычей червей?

(Молчание.)

А т е и с т (чуть погромче, почти вызывающе). Кто будет ждать меня, когда я обращусь в прах?

(Молчание.)

А т е и с т (еще громче, уже с возмущением). А кто вспомнит обо мне, когда я опять листвой поднимусь из земли?

(Молчание.)

Вопросов, которые атеист выкрикивал в церкви, было двенадцать, и после каждого вопроса в тексте стояло: «Молчание».

Помощник режиссера вынул изо рта изжеванную спичку, засунул в рот новую и вопросительно поглядел на техника.

— Да, — сказал техник, — лично я считаю, что в передаче многовато молчания.

— Вот и мне кажется, — сказал помощник режиссера. — И автору тоже, он разрешил мне заменить молчание голосом, который говорит «Бог», только этот голос уже не должен разноситься под сводами пустой церкви, ему, так сказать, потребна другая акустика. Ну а что толку? Где я сейчас возьму голос?

Техник рассмеялся и схватил жестяную коробку, которая все еще стояла на полке.

— Вот, пожалуйста, очень приличный голос, говорит «Бог», и как раз в помещении, лишенном всякого резонанса.

От удивления помощник режиссера чуть не поперхнулся спичкой, с трудом откашлялся и вытолкнул ее на прежнее место.

— Все очень просто, — улыбаясь, сказал техник. — Мы двадцать семь раз вырезали это слово из одного выступления.

— Двадцать семь раз мне не нужно, — ответил помреж, — с меня хватит и двенадцати.

— Мне ничего не стоит, — сказал техник, — вырезать молчание и двенадцать раз вклеить слово «Бог», но только на вашу ответственность.

— Вы ангел, — сказал помощник режиссера. — Конечно, на мою ответственность. — Он радостно посмотрел на маленькие матовые обрезки ленты в коробке Мурке. — Вы ангел, — повторил он. — Ну, давайте приступим.

Техник тоже радовался; он подумал, как много молчания он сможет подарить Мурке — почти целую минуту, он ни разу еще не дарил Мурке столько молчания, а Мурке ему нравился.

— Хорошо, — улыбнулся он, — начнем.

Помощник режиссера полез в карман за пачкой сигарет, но вместе с сигаретами вытащил смятую бумажку и, разгладив ее, протянул технику.

— Ну не смешно ли, — сказал он, — что на радио можно найти такую безвкусицу? Это я нашел у себя возле своей двери.

Техник поглядел на бумажку, сказал:

— И впрямь смешно. — После чего прочел вслух: — «Я молилась за тебя в церкви Святого Иакова».

НЕ ТОЛЬКО ПОД РОЖДЕСТВО

I

У нас в семье наблюдаются признаки вырождения; мы долго пытались не замечать их, но теперь мы твердо решились взглянуть опасности прямо в лицо. Мне не хотелось бы пока употреблять слово «крушение», но вызывающих тревогу фактов накопилось так много, что угроза становится совершенно очевидной и вынуждает меня говорить о вещах, которые хоть и прозвучат несколько странно для ушей моих современников, зато в их подлинности никто не сможет усомниться. Разрушительный грибок, целые колонии смертоносных микробов, глубоко укоренившись под столь же толстой, сколь

и твердой корой приличия, возвещают конец доброй славы целого рода.

Сегодня нам остается только пожалеть о том, что много ранее мы не вняли голосу нашего кузена Франца, когда тот весьма своевременно начал обращать наше внимание на ужасные последствия, которые может иметь событие, само по себе весьма безобидное. Событие это было столь незначительным, что теперь нас просто пугает размах последствий. Франц своевременно предостерегал нас, однако с ним, к сожалению, слишком мало считались. Он избрал себе профессию, которая до сих пор не встречалась, да и не должна бы встречаться в нашем роду: он стал боксером. Еще в молодости он был человеком, склонным к меланхолии, отличался набожностью, которую у нас в семье называли юродством, и рано вступил на путь, причинивший немало забот и огорчений моему дяде Францу, этому душевнейшему человеку. Кузен Франц до такой степени любил уклоняться от школьных обязанностей, что это выходило за пределы нормы. Он встречался с крайне сомнительными

приятелями в отдаленных парках и густых кустарниках пригородной зоны. Там они усваивали суровые правила кулачного боя, нимало не заботясь о судьбах классического наследия. В этих юношах очень рано проявились все пороки их поколения, которое, как потом выяснилось, и в самом деле никуда не годится. Самые волнующие турниры умов прошлых столетий совершенно их не интересовали — они были слишком заняты сомнительными тревожностями своего века. Сперва мне казалось, что благочестие Франца находится в противоречии с его регулярными упражнениями в пассивной и активной жестокости. Но сегодня мне многое стало ясно. Впрочем, к этому я еще вернусь.

Итак, именно Франц своевременно предостерегал нас, именно он раньше других начал уклоняться от участия в некоторых празднествах, обозвал все это суетой и безобразием, а главное, несколько позднее категорически воспротивился мероприятиям, которые оказались совершенно необходимыми для поддержания того, что он называл безобразием. Впрочем, как

уже было сказано, он не пользовался авторитетом, и родня не прислушивалась к его словам.

Теперь же события настолько развернулись, что мы решительно не представляем себе, как приостановить их ход.

Франц уже давно стал известным боксером, но похвалы, которые теперь расточает ему вся семья, он отвергает с тем же равнодушием, с каким прежде отвергал всякую критику.

Брат мой, кузен Иоганн, — человек, за порядочность которого я поручусь головой, этот преуспевающий адвокат и любимый сын нашего дяди, якобы сблизился с коммунистами — слух, которому я долго отказывался верить. Моя кузина Люси, до этого времени вполне нормальная женщина, если верить слухам, каждую ночь в сопровождении своего безответного мужа посещает подозрительные заведения и предается там танцам, для определения которых я не могу подобрать более подходящего слова, чем экзистенциалистские, наконец, сам дядя Франц, добродушнейший человек, заявил, будто он устал жить, и это он,

прославившийся в нашей семье как образец жизнелюбия, как пример того, что принято называть «купец и христианин».

Растет гора всевозможных счетов, приглашаются психиатры и психоаналитики. И лишь моя тетя Милла, из-за которой началась вся эта кутерьма, чувствует себя превосходно, она улыбается, она весела и довольна, как была почти всю свою жизнь. Ее бодрость и свежесть мало-помалу начинают нас раздражать, хотя было время, когда мы очень беспокоились о ее здоровье. Дело в том, что в ее жизни произошел кризис, чреватый самыми тяжелыми последствиями. Вот об этом-то я и хочу рассказать подробнее.

II

Конечно, задним числом нетрудно обнаружить очаг роковых событий, и, как ни странно, лишь теперь, когда я трезво смотрю на вещи, все происходившее за последние два года у наших родственников кажется мне ни на что не похожим.

Нам бы надо раньше догадаться, что здесь что-то не так. Действительно, здесь что-то не так, и, если даже когда-то было так — в чем я очень сомневаюсь, — все равно сейчас здесь творятся вещи, которые наполняют меня ужасом.

Тетя Милла славилась в семье своим пристрастием к украшению рождественской елки — безобидная, хотя и характерная слабость, которая очень распространена в нашем отечестве. Над ее слабостью все посмеивались, а сопротивление Франца, которое он с ранних лет оказывал этой «возне», всегда было предметом живейшего возмущения, ибо Франц и сам по себе был явлением отрицательным. Он отказывался украшать елку. До поры до времени все это сходило гладко. Тетка уже привыкла к тому, что Франц уклоняется от всяких приготовлений в период Рождественского поста, уклоняется от участия в самом празднике и приходит лишь тогда, когда пора садиться за стол. Об этом просто перестали говорить.

Рискуя вызвать всеобщее негодование, я должен напомнить об одном факте, в защиту которого я могу только сказать, что

это факт. С 1939 по 1945 год мы находились в состоянии войны. Когда идет война, принято петь, стрелять, произносить речи, сражаться, голодать и умирать, кроме того, на вас падают бомбы — все это вещи сплошь неприятные, и я никоим образом не хотел бы докучать современникам их перечислением. Мне только приходится упоминать о них, ибо война оказала решающее влияние на историю, которую я хочу рассказать. Так вот, тетя Милла восприняла войну лишь как некую силу, которая уже с Рождества 1939 года начала расшатывать устои ее рождественской елки. Правда, тетушкина елка отличалась повышенной чувствительностью.

Главным украшением елки были стеклянные гномы, в поднятых руках они держали пробковые молоточки, а у ног их висели наковальни в виде колокольчиков. Под ногами гномов были прикреплены свечи, и, когда гномы нагревались до определенной температуры, приходил в движение скрытый механизм, гномами овладевало лихорадочное беспокойство, и вся дюжина как одержимая колотила по нако-

вальням, производя мелодичный и нежный звон. А на верхушке елки висел румяный ангел в серебряных одеждах, который через равные промежутки времени раскрывал рот и шептал: «Мир, мир». Тайна ангельского устройства свято охранялась, и узнал я ее только много позже, хотя в тот период мог наблюдать ангела почти каждую неделю. Висели на елке конечно же сахарные крендельки, печенье, марципановые фигурки, золотой дождь и — чтоб не забыть — серебряная мишура; я помню, что развесить многочисленные украшения как следует стоило немалого труда, требовалось участие всей семьи — и вся семья от волнения теряла к вечеру аппетит, и настроение у всех, как говорится, становилось отвратительное, если не считать моего кузена Франца, который — один из всех — не участвовал в приготовлениях и поэтому мог наслаждаться жарким и спаржей, сбитыми сливками и мороженым. Когда мы приходили на второй день Рождества и высказывали смелое предположение, что тайна говорящего ангела заключается в таком же механизме, благодаря которому

куклы могут говорить «папа» или «мама», нам отвечали презрительным смехом.

Теперь вы легко можете себе представить, что бомбы, сыплющиеся неподалеку, в высшей степени вредили этому чувствительному дереву. Происходили ужасные сцены, когда с елки падали гномы, один раз свалился даже сам ангел. Тетка была безутешна. Не жалея сил, она после каждого воздушного налета старалась полностью восстановить украшение елки и сохранить его по крайней мере на время праздника. Но начиная с 1940 года об этом нечего было и думать. Еще раз рискуя вызвать нарекания, я должен бегло упомянуть, что число налетов на наш город было и впрямь очень велико, не говоря уже об их интенсивности. Так или иначе, тетушкина елка пала жертвой современного способа ведения войны. Из вполне понятных соображений я не буду здесь упоминать о других жертвах. Иностранная авиация временно с ней покончила.

Тетка, славная и приветливая женщина, вызывала у нас искреннее сострадание. Нам было очень больно, когда после жестоких домашних боев, нескончаемых дискуссий,

после сцен и слез ей все же пришлось отказаться от своей елки до конца войны.

К счастью — может быть, надо говорить, к несчастью? — это было единственное, в чем она пострадала от войны. Бомбоубежище, выстроенное дядей, было совершенно непробиваемо, кроме того, к услугам тетки все время находился автомобиль, готовый умчать ее туда, где незаметны непосредственные следы войны; делалось все возможное, чтобы скрыть от нее ужасные разрушения. Обоим моим кузенам повезло — они так и не узнали, что такое военная служба в самых ее суровых формах. Иоганн быстренько вступил в дядину фирму, которая играла решающую роль в снабжении нашего города овощами. К тому же у него была не в порядке печень. А Франц хоть и стал солдатом, но ему поручили охранять пленных, и даже на этом посту он ухитрился не угодить военному начальству, обращаясь с русскими и поляками как с людьми. Кузина Люси еще не была тогда замужем и помогала дяде в торговых делах. Раз в неделю она ходила на «добровольную службу в помощь армии» —

вышивать свастики. Но мне не хотелось бы перечислять здесь политические прегрешения моих родственников.

Короче говоря, ни в деньгах, ни в продуктах, ни в необходимой безопасности недостатка не было, и тетя Милла страдала лишь из-за отсутствия елки. Дядя Франц, этот душевнейший человек, почти пятьдесят лет имел неплохие доходы — он покупал апельсины и лимоны в различных тропических и субтропических странах и пускал их в продажу с соответствующей наценкой. В годы войны дядя распространил сферу своей деятельности на менее ценные фрукты и овощи. Но после войны снова появились цитрусовые — плоды, которые больше всего занимали дядю, — и сразу стали предметом живейшего внимания всех слоев общества. Дядя Франц сумел тут же переключиться на цитрусовые, что принесло населению всевозможные витамины, а самому дяде — порядочное состояние.

Но ему уже было под семьдесят, и он сам захотел уйти на покой, передав дело своему зятю. Тут и произошло событие, над которым мы раньше посмеивались, но которое

теперь кажется нам причиной всех дальнейших несчастий.

Моя тетка Милла вновь занялась своей елкой. Само по себе это было вполне безобидно, даже упорство, с которым она настаивала на том, чтобы «все было как раньше», вызывало у нас только усмешку. Да и на самом деле, сначала не было ровно никаких оснований принимать эту историю всерьез. Война, правда, разрушила много такого, что восстановить было несравненно труднее, но зачем — так говорили мы себе — отнимать у симпатичной старушки столь невинную радость?

Всем известно, как трудно было достать тогда масло или сало. Но раздобыть марципановые фигурки, шоколадные крендельки и свечи в 1945 году оказалось просто невозможным даже для моего дяди Франца, имевшего обширные связи. Лишь в 1946 году было собрано все, что требовалось. К счастью, сохранился еще целый комплект гномов с наковальнями и один ангел.

Я хорошо помню тот день, когда нас пригласили к дяде. Шел январь 1947 года. На

дворе стоял мороз. Но у дяди было тепло, а стол ломился от разных угощений. И когда погасли лампы, зажглись свечи, гномы начали колотить молоточками, а ангел шептать: «Мир, мир», мне почудилось, будто меня перенесли в доброе старое время, которое — как я до тех пор думал — миновало безвозвратно.

Тем не менее все это не содержало в себе ничего из ряда вон выходящего, хотя и явилось для нас приятной неожиданностью. Из ряда вон выходящим оказалось то, с чем я столкнулся спустя три месяца. Моя мать — дело было в середине марта — послала меня разузнать, нельзя ли «чем-нибудь пожить» у дяди Франца. Речь шла о фруктах. Я отправился в соседний район города. Воздух был мягкий и чистый, смеркалось. Ничего не подозревая, шагал я мимо поросших травой развалин и заброшенных парков, открыл калитку в дядин сад и вдруг остановился от неожиданности. В вечерней тишине я отчетливо услышал пение, доносившееся из дядиной гостиной. Любовь к песням — хорошая черта немцев, и я знаю немало

весенних песен, но здесь до меня совершенно отчетливо донеслось:

Родился мальчик весь в кудрях...

Признаюсь, я был ошеломлен. Я медленно подошел к дому и дождался конца песни. Занавески были задернуты, я наклонился к замочной скважине. И в этот момент моего уха достиг звон молоточков и шепот ангела.

У меня не хватило духу войти туда, и я медленно побрел домой. Дома мой рассказ вызвал веселое оживление. И только когда к нам заглянул Франц и рассказал подробности, мы поняли, что произошло.

В Сретение Господне — другими словами, когда в наших краях принято снимать с елки украшения и выбрасывать ее на свалку, где уличные ребяташки ее находят, таскают по золе и всякой грязи и используют для всевозможных игр, — итак, в Сретение случилось нечто ужасное. Когда вечером, после того как догорели последние свечи, мой двоюродный брат Иоганн начал снимать гномов, тетя Милла, обыч-

но очень тихая, стала истошно вопить, да так неожиданно и громко, что Иоганн растерялся, выпустил из рук покачивающееся дерево, и тут-то все и произошло: раздался звон и треск, гномы и колокольчики, наковальни и ангел — все полетело на пол, а тетка тем временем кричала да кричала. Она кричала почти целую неделю. Приглашались срочными телеграммами невропатологи, приезжали в такси психиатры, но все, даже знаменитости, покидали дом, пожимая плечами и не без испуга.

Никто не мог прекратить этот пронзительный концерт. Самые сильнодействующие средства давали передышку лишь на несколько часов, но — увы! — доза люминала, которую может без всякой опасности для себя ежедневно принимать шестидесятилетняя старушка, очень незначительна. Зато представьте, какая мука жить в одном доме с женщиной, кричащей изо всех сил: уже на второй день семья находилась в состоянии полного распада. Увещания патера, который обычно присутствовал на рождественском вечере, не помогли — тетка кричала.

Франц вызвал бурю негодования, когда порекомендовал предпринять изгнание беса по всем правилам. Патер бранил его, семья была потрясена его средневековыми взглядами, возмущение жестокостью Франца на несколько недель затмило его боксерскую славу.

Меж тем были испробованы все средства исцелить тетку. Она отказывалась есть, не разговаривала, не спала. Применяли холодную воду и горячую ванну, ножные ванны, перемежающиеся ванны, врачи рылись в справочниках, пыгались найти хотя бы название этого синдрома — и не находили. А тетка кричала. Она кричала до тех пор, пока моему дяде Францу — этому поистине душевнейшему человеку — не пришла в голову мысль украсить новую елку.

III

Идея была превосходной, но осуществить ее оказалось очень нелегко. Приближалась уже середина февраля, а в это время довольно трудно найти на рынке прилич-

ное дерево. Весь коммерческий мир уже давно — с быстротой, впрочем, чрезвычайно отрадной — перешел к другим делам. Приближался карнавал: маски и пистолеты, ковбойские шляпы и замысловатейшие головные уборы для королей чардаша заполнили витрины, где прежде радовали глаз прохожего ангелы, золотой дождь, свечи и игрушечные ясли. Кондитерские лавки давно уже спрятали до лучших времен рождественские лакомства, и на их месте красуются теперь хлопушки. Короче говоря, в магазинах в это время года елок не продают.

Пришлось снарядить целую экспедицию грабительски настроенных внучат, вооружив их карманными деньгами и острым топором; те поехали за город и вернулись к вечеру в превосходном расположении духа и с великолепной пихтой. Но тем временем выяснилось, что четыре гнома, шесть наковален и ангел с верхушки погибли безвозвратно. Марципановые фигурки и печенье стали добычей все тех же грабительски настроенных внучат. Надо сказать, что и нынешнее подрастающее поколение нику-

да не годится, и если вообще существовало когда-нибудь поколение, которое куда-нибудь годилось — в чем я лично очень сомневаюсь, — то это поколение наших отцов.

Хотя у дяди не было недостатка ни в наличном капитале, ни в связях, прошло четыре дня, прежде чем подготовили все необходимое. А тетка тем временем кричала без передышки. Летели по проводам телеграммы, адресованные фирмам детских игрушек — эти фирмы как раз находились в стадии восстановления, — заказывались по телефону разговоры «молния». Запыхавшиеся мальчишки-почтальоны доставляли среди ночи срочные пакеты, благодаря взятке удалось в короткий срок добиться разрешения на ввоз товаров из Чехословакии.

Эти дни войдут в семейную летопись как дни, отмеченные чрезмерным расходом кофе, сигарет и нервов. А тетка тем временем сильно сдала: ее круглое лицо стало жестким и угловатым, выражение кротости сменилось выражением неумолимой строгости, она не ела, не пила, исступленно кричала, за

нею ухаживали две сестры милосердия, и дозу люминала приходилось увеличивать каждый день.

Франц рассказал нам, что во всей семье царила мучительная тревога, пока наконец 12 февраля елка не была наряжена. Были зажжены свечи, задернуты занавески, тетку привели из спальни, среди собравшихся слышались рыдания и хихиканье. Как только тетка увидела зажженные свечи, лицо ее смягчилось. Когда же достаточно разогрелись гномы и будто одержимые начали колотить по наковальням, а ангел шепнул: «Мир, мир», чудесная улыбка озарила ее лицо, и вся семья затянула рождественскую песню «О, милая елка!». Для полноты картины пригласили патера, который обычно проводил сочельник у дяди Франца, патер тоже облегченно улыбнулся и начал подпевать.

То, чего не могли добиться ни медицинские исследования, ни психиатрические экспертизы, ни компетентные поиски скрытых травм, совершило любящее сердце дяди. Елочная терапия, изобретенная этим душевным человеком, спасла положе-

ние. Тетка успокоилась и в общем — как мы тогда надеялись — исцелилась. После того как было пропето несколько песен, съедено несколько вазочек печенья, все устали и разбрелись восвояси. И тетка — представьте себе — уснула без снотворного. Сестер милосердия отпустили, врачи пожали плечами, и все казалось в полном порядке. Тетка снова ела, снова пила, снова стала приветливой и кроткой.

Но на другой день, когда начало смеркаться и дядя спокойно сидел с газетой в руках под елкой возле жены, она вдруг коснулась его руки и сказала:

— Пора звать детей, по-моему, уже время.

Позднее дядя признавался нам, что он очень испугался, но тем не менее встал, чтобы срочно созвать детей и внуков и послать за патером. Патер пришел несколько запыхавшийся и недоумевающий, но потом зажгли свечи, гномы начали стучать молоточками, ангел начал шептать, собравшиеся пели, жевали печенье, и казалось, что все в порядке.

Вся растительность подчиняется определенным биологическим законам, и, согласно этим законам, ели, вырванные из родной почвы, испытывают прискорбную склонность терять иголки, особенно когда они стоят в теплом помещении, а у дяди было очень тепло. Век пихты несколько длиннее, чем век обычной ели, что ясно доказала популярная работа доктора Хергенринга «*Abies nobilis et Abies vulgaris*». Но и век пихты не бесконечен. Уже перед карнавалом выяснилось, что придется доставить тетке новое огорчение: дерево со страшной скоростью роняло иглы, и все видели, как слегка хмурится лоб тетки во время вечерних песнопений. По совету одного действительно выдающегося психиатра была предпринята попытка небрежно, вскользь намекнуть тетке о возможном окончании Рождества, поскольку на деревьях уже начали распускаться почки, что повсеместно рассматривается как признак весны, а в наших широтах с рождественской порой принято связывать всякие зимние пред-

ставления. Искусный в такого рода делах дядя предложил как-то вечером спеть «Все птички прилетели» и «Приди, весна, скорее», но при первых же звуках первой же песни тетка сделала настолько мрачное лицо, что пришлось немедленно переключиться и затянуть «О, милая елка!». Три дня спустя моему брату Иоганну поручили предпринять легкую попытку разбора елки, но не успел он протянуть руку и снять одного гнома, как тетка испустила такой вопль, что пришлось приладить гнома на старое место, зажечь свечи и с несколько излишней поспешностью, но зато очень громко затянуть песню «Тихая ночь, святая ночь».

Но ночи перестали быть тихими: компании молодых гуляк с песнями, с барабанами и трубами шатались по городу, все было усыпано серпантинном и конфетти, днем на улицах резвились дети в масках, они кричали, стреляли, некоторые даже пели, и, по данным частной статистики, в городе насчитывалось минимум шестьдесят тысяч ковбоев и сорок тысяч королев чардаша. Короче говоря, наступил карнавал — праздник, отмечаемый у нас не менее, если

даже не более, широко, чем Рождество. Но тетка оставалась глуха и слепа ко всему происходящему: она хаяла все без исключения карнавальные наряды, которых у нас обычно в это время полным-полно во всех шкафах; печальным голосом жаловалась она мне на страшное падение нравов, коль скоро даже в рождественские дни люди не могут отказаться от этой безнравственной суеты, а когда она нашла в комнате у своей дочери воздушный шар — правда, из шара вышел воздух, но дурацкий колпак, нарисованный на нем белой краской, был виден очень ясно, — тетка разразилась слезами и попросила дядю положить конец этому кошунству.

И тут все с ужасом констатировали, что моя тетка сошла с ума и воображает, будто у нас до сих пор сочельник. Дядя созвал семейный совет, на котором просил пощадить чувства тети и посчитаться с ее необычайным состоянием, после чего снарядили новую экспедицию, дабы сохранить мир по крайней мере на время вечернего торжества.

Пока тетка спала, все украшения сняли со старого дерева и перевесили на новое, и

состояние тетки продолжало оставаться удовлетворительным.

V

Но вот и карнавал кончился, наступила самая настоящая весна, и вместо песни «Приди, весна, скорее» смело можно было петь «Весна пришла». Потом начался июнь. Четыре елки успели уже осыпаться, но ни один из вновь приглашенных врачей не подал ни малейшей надежды на исцеление. Тетка стояла на своем. Даже известный как мировое светило доктор Блесс пожал плечами и удалился в свой кабинет, получив предварительно в качестве гонорара 1365 марок, чем лишний раз доказал, что он не от мира сего. Несколько очередных, очень нерешительных попыток прекратить торжества или пропустить хотя бы один вечер были встречены такими воплями, что пришлось наконец оставить всякую мысль о подобном богохульстве.

Ужаснее всего было, что тетка требовала присутствия всех родных и близких. К их числу относились также патер и внуки.

Даже ближайших членов семьи с большим трудом заставляли приходить вовремя, а с патером дело обстояло совсем плохо. Несколько недель он еще безропотно терпел из уважения к старой прихожанке, но потом заявил дяде, смущенно покашливая, что дальше так не пойдет. Правда, само торжество длится недолго — каких-нибудь тридцать восемь минут, но даже и эту краткую церемонию невозможно проделывать каждый день, утверждал патер: у него-де есть и другие обязанности — вечерние встречи с коллегами, заботы о спасении души своих прихожан, не говоря уже о субботних исповедях. Правда, он согласился потерпеть еще несколько недель, но в конце июня начал решительно бороться за свое освобождение. Франц бушевал, искал сторонников своего плана поместить мать в лечебницу, но наткнулся на всеобщее осуждение.

Так или иначе, трудности не замедлили сказаться. Как-то вечером не явился патер, его нигде нельзя было отыскать ни по телефону, ни через посыльного, и стало ясно, что он просто-напросто сбежал. Дядя страшно ругался и воспользовался

случаем, чтобы обозвать всех служителей церкви такими словами, которые я решительно отказываюсь повторить. С горя пригласили какого-то капеллана, человека простого происхождения. Он пришел, но держал себя так ужасно, что чуть не разразилась катастрофа. Не надо забывать, что был уже июнь, следовательно, и без того жарко, да к тому же задернуты занавески, чтобы было темно, как зимним вечером, вдобавок горели свечи. Потом начался собственно праздник; капеллан, правда, слышал уже о том, что здесь творится, но представлял себе все это очень смутно. Дядя дрожа подвел капеллана к тетке — он-де будет сегодня вместо патера. Тетка — ко всеобщему удивлению — восприняла перемену программы весьма спокойно. И вот гномы стучали молоточками, ангел шептал, семейство пропело «О, милая елка!», потом все ели печенье, потом запели еще раз, и вдруг капеллан стал давиться от хохота. Уже позднее он признался, что никогда не мог без смеха слышать слова: «Зимой, когда повсюду снег». Он фыркнул с поистине клерикаль-

ной бестактностью, выскочил из комнаты и больше не возвращался. Все взоры устремились на тетку, но она кротко проворботала что-то о «пролетариях в сутане» и положила в рот кусочек марципана. Даже мы осудили тогда поведение капеллана, но сегодня я скорее склонен рассматривать его как приступ природной смешливости.

Я должен добавить — если намереваюсь и впредь строго придерживаться фактов, — что дядя пустил в ход все свои связи с церковными властями, чтобы обжаловать поведение как патера, так и капеллана. За дело принялись чрезвычайно корректно, был возбужден процесс о преступном забвении обязанностей духовного пастыря, но в первой инстанции его выиграла священники. Дело было передано во вторую инстанцию.

К счастью, по соседству удалось отыскать старого прелата, вышедшего на пенсию. Этот достойный старик с величайшей любезностью незамедлительно предоставил себя в распоряжение дяди Франца и согласился ежевечерне присутствовать на торжестве. Но я немного забежал вперед.

Дядя Франц, человек достаточно здраво-мыслящий, чтобы понять, что усилия врачей ни к чему не приведут, но при этом не желавший помещать тетку в клинику, был в то же время достаточно деловым человеком, чтобы устроить все как надо на долгий срок, по-хозяйски рассчитав все издержки. Прежде всего, уже с середины июля были приостановлены экспедиции внучат — выяснилось, что они обходятся слишком дорого. Мой находчивый кузен Иоганн, который поддерживает прекрасные отношения со всеми деловыми кругами, отыскал бюро по сохранению свежих елок при фирме «Зёдербаум» — весьма солидном предприятии, которое уже почти два года сберегает нервы моим родственникам. Спустя полгода фирма «Зёдербаум» выпустила абонемент на поставку елок по сниженным ценам и предложила всякий раз заранее устанавливать силами специалиста по хвойным иголкам доктора Альфаста срок годности елки, так чтобы уже за три дня до того, как старая елка окончательно выйдет из строя, доставлять новую и без спешки украшать ее. Кроме того, предосторожности ради был создан

резервный фонд численностью в две дюжины гномов и три ангела для верхушки.

По-прежнему уязвимым местом остаются сладости. Они проявили разительную склонность таять и стекать с дерева быстрее и бесповоротнее, чем воск. По крайней мере в летние месяцы. Все попытки сохранить их при помощи скрытых холодильных приспособлений в состоянии рождественской твердости до сих пор оканчивались неудачей, равно как и попытка добиться возможности сохранить дерево путем бальзамирования. Тем не менее семейство будет очень тронут и признательно за всякое предложение, которое удешевит этот непрекращающийся праздник.

VI

Тем временем вечерние торжества в доме дяди приобрели отпечаток бездушности почти профессиональной. Все собираются под елкой или вокруг елки. Входит тетка. Зажигают свечи. Гномы начинают стучать молотками, ангел шепчет: «Мир, мир»,

потом исполняют несколько песен, жуют печенье, немного болтают и, зевая, расходятся с пожеланием «весело провести праздник», после чего молодежь предается удовольствиям, соответствующим данному времени года, а мой добрый дядя Франц с тетей Миллой ложатся спать. В комнате остается дымок от погашенных свечей, легкий аромат разогретой хвои и запах пряностей. Гномы неподвижно застыли, излучая в темноте слабое сияние, их руки угрожающе подняты, серебряные одежды ангела тоже начинают слабо светиться.

Нет нужды сообщать, что радость, которую принято испытывать во время настоящего Рождества, у членов нашей семьи значительно померкла: мы можем любоваться рождественской елкой, когда захотим; бывает и так, что мы сидим летом на веранде, утомленные дневной суетой, и попиваем дядюшкин апельсиновый крюшон, а из дома доносится нежный перезвон стеклянных колокольчиков, и видно, как гномы, словно маленькие проворные чертики, колотят молотками, а ангел все шепчет: «Мир, мир». И до сих пор нам кажется

диким, когда дядя среди лета вдруг зовет детей: «Пора зажигать свечи, сейчас придет мать». Потом, почти всегда точно в назначенное время, появляется прелат — симпатичный старик, к которому мы все уже давно относимся как к родному за то, что он отлично играет свою роль, если, конечно, он вообще понимает, что играет какую-то роль, и какую именно. Но так или иначе, он играет роль, седовласый, улыбающийся, лиловая кайма, выглядывающая из-под воротничка, придает картине завершающий оттенок благородства. А что вы скажете, услышав прохладным вечером взволнованный крик: «Скорей несите гасильник! Где гасильник?» Уже случалось, что во время сильной грозы гномы решали ни с того ни с сего устроить концерт сверх программы — они начинали без всякого нагрева размахивать руками и дико стучать молотками, а мы, люди, лишенные воображения, пытались объяснить это прозаическим словом «электричество».

Немаловажную сторону дела составляет сторона финансовая. Пусть даже семья не испытывает недостатка в наличных средствах, но такие чрезмерные и непривычные

расходы пробивают в капитале солидную брешь. Ибо, несмотря на все меры предосторожности, естественная убыль гномов, наковален и молотков не знает границ, а тонкий механизм, при помощи которого говорит ангел, нуждается в постоянном уходе и заботе и должен время от времени подвергаться ремонту. Кстати, я открыл тайну — оказывается, ангел подключен к микрофону в соседней комнате, а перед микрофоном все время крутится пластинка и через определенные промежутки времени повторяет: «Мир, мир». Поскольку эти вещи нужны всего лишь несколько дней в году, за них берут очень дорого, а у нас их употребляют круглый год. Я был немало удивлен, когда дядя однажды признался мне, что гномов хватает не больше чем на три месяца и что полный комплект гномов стоит не меньше 128 марок. Он просил одного знакомого инженера покрыть гномов для прочности резиновой оболочкой, но так, чтобы при этом не повредить красоте звона. Однако попытка не удалась. Расход свечей, имбирных пряников, марципанов, елочный абонемент, счета от врачей и внимание,

вот уже три месяца оказываемое прелату, — на все это, вместе взятое, ежедневно уходит, как сказал дядя, в среднем около одиннадцати марок, не говоря уже о страшном расходе нервов, о ежедневном подрыве здоровья, каковой начал заметно сказываться. Но тогда была осень, и все заболевания приписали повсеместно наблюдаемой осенней восприимчивости.

VII

Обычное Рождество прошло вполне благополучно. В дядиной семье свободно вздохнули, когда увидели, что и другие семьи собрались возле елок, что и другие поют и едят имбирные пряники. Но облегчение миновало вместе с Рождеством. Уже в середине января у моей кузины Люси началась странная болезнь: завидев елку на улице или в мусорной куче, она раздражалась истерическими рыданиями. Потом с нею случился настоящий приступ безумия, который врачи пытались замаскировать под истощение нервной системы. Когда

подруга, к которой Люси была приглашена на чашку кофе, начала, любезно улыбаясь, угощать ее имбирными пряниками, Люси выбила у подруги вазу из рук. Моя кухня принадлежит к числу тех, кого обычно называют темпераментными женщинами: короче, она выбила у подруги вазу из рук, потом набросилась на елку, сорвала ее с подставки и начала топтать ногами стеклянные бусы, ватные грибы, свечи и звезды, сопровождая все это диким воем. Предоставив Люси бушевать в одиночестве, гости бросились наутек вместе с хозяйкой и до прихода врача не покидали передней, где им волей-неволей пришлось слушать, как Люси расправляется с фарфором. Мне нелегко говорить об этом, но я обязан сообщить, что Люси увезли от подруги в смиренной рубашке.

Длительное лечение гипнозом принесло некоторые результаты, но окончательное исцеление продвигалось очень медленно. Больше всего помогло Люси требование врача освободить ее от участия в вечерних торжествах; уже через несколько дней она просто расцвела. Спустя десять дней врач

рискнул заговорить с ней об имбирных пряниках, но съесть хоть один пряник она категорически отказалась. Врачу пришла в голову гениальная мысль кормить ее солеными огурцами, салатами, пикантными мясными блюдами. И это спасло бедную Люси. Она снова научилась улыбаться и приправлять бесконечные медицинские беседы, которые обычно вел с ней врач, ядовитыми замечаниями.

Хотя тетка очень болезненно восприняла отсутствие Люси на вечерних собраниях, это отсутствие объяснили причиной, которая считается уважительной для всех женщин, — беременностью.

Однако случай с Люси создал то, что называют прецедентом. Люси доказала, что хотя тетка страдает, когда кто-нибудь не является, но вопить так уж сразу она не начинает. И тогда мой кузен Иоганн и его зять Карл попытались нарушить строгую дисциплину, ссылаясь на различные болезни, деловые встречи или прибегая к другим, столь же прозрачным уловкам. Но здесь дядя оказался крайне неподатлив: с железной твердостью он настоял, что толь-

ко в самых исключительных случаях члены семьи могут предъявлять справки и получать краткосрочные отпуска. Дело в том, что тетка замечала отсутствие любого человека и принималась плакать, правда, тихо, но без остановки, что наводило всех на страшные мысли.

Спустя четыре недели Люси вновь присоединилась к ежедневным торжествам, но врач потребовал, чтобы перед ней ставили тарелку с солеными огурцами и острыми бутербродами, ибо «имбирная травма» оказалась неизлечимой. Итак, дяде, проявившему неожиданную для всех твердость, удалось справиться на некоторое время со своими затруднениями.

VIII

Едва минул год с тех пор, как у наших стали постоянно справлять Рождество, всех потрясли тревожные слухи: мой кузен Иоганн побывал якобы у знакомого врача и спросил того, сколько еще может прожить тетка. Этот поистине мрачный слух бросает

странный свет на все семейство, мирно собирающееся ежевечерне за рождественским столом. Мнение врача, по слухам, совершенно убило Иоганна. Внутренние органы моей тетки, всегда отличавшейся завидным здоровьем, находятся в прекрасном состоянии, отец ее прожил семьдесят восемь лет, мать — семьдесят шесть, самой тетке сейчас шестьдесят два, следовательно, нет никаких оснований предсказывать ей скорый конец. И того меньше оснований — на мой взгляд — желать ей скорой смерти. Когда тетка летом после всего этого заболела — у бедняжки начались рвота и понос, — поползли слухи, что ее попросту отравили, но я должен со всей решительностью заявить, что это от начала до конца выдуманно злопыхательствующими родственниками. Было неопровержимо доказано, что болезнь вызвана инфекцией, которую занес в дом один из внучат. Медицинские анализы не обнаружили в тетушкиных фекалиях ни малейших признаков яда.

В то же лето у Иоганна впервые начали проявляться антиобщественные устремления: он вышел из певческого общества

и письменно заявил, что не желает больше принимать участия в культивировании немецкой песни. Не могу не упомянуть, что Иоганн всегда был и оставался человеком крайне необразованным, невзирая на полученную им академическую степень. Для «Виргимнии» было большой потерей лишиться такого баса.

Мой зять Карл начал вести тайные переговоры с бюро путешествий. Страна, о которой он мечтал, была обязана отвечать следующим требованиям: там не должно быть никаких елок и ввоз таковых должен быть либо категорически запрещен, либо обложен огромными пошлинами; кроме того — это уже ради жены, — там должен быть неизвестен рецепт приготовления имбирных пряников и запрещено исполнение немецких рождественских песен. Карл изъявил готовность заняться в этой стране любым самым тяжелым физическим трудом.

Он мог уже не держать в тайне свои попытки к бегству, ибо с дядей произошла за это время внезапная и полная перемена, и совершилось это при таких неприятных обстоятельствах, что у нас были все основа-

ния перепутаться. Этот порядочный человек, о ком я могу лишь сказать, что он столь же тверд духом, сколь добродушен, был уличен в поступках, которые считались, считаются и будут считаться безнравственными, пока стоит свет. О нем стали известны такие подтвержденные свидетелями вещи, которые можно назвать лишь словом «прелюбодеяние». Ужаснее всего, что сам он не только перестал опровергать эти слухи, но даже, ввиду особых условий, в каковые он поставлен обстоятельствами, претендует на право нарушать обычные законы. И надо же так случиться, чтобы все это произошло как раз в те дни, когда был назначен второй пересмотр дела двух священнослужителей нашего прихода. Дядя Франц в качестве свидетеля и закулисного истца произвел, очевидно, такое неблагоприятное впечатление, что только этому и можно приписать победу священников при втором разбирательстве. Но дяде Францу было теперь все равно, его падение свершилось.

Он же был первым, кому пришла в голову чудовищная мысль посылать вместо себя на ежевечерние торжества какого-нибудь

актера. Он отыскал безработного бонвивана, который две недели подряд так хорошо изображал дядю, что даже собственная жена не заметила подмены. Дети тоже ничего не заметили. И только один из внучат вдруг закричал в промежутке между двумя песнями: «А на дедушке дешевые носки!» — и с торжеством задрал штанину бонвивана. Сцена вышла крайне неприятная для злополучного актера, семейство тоже было потрясено, и, чтобы избежать дальнейших осложнений, все — как это уже не раз бывало в подобных обстоятельствах — дружно затаили новую песню. Когда тетка легла спать, личность актера была тотчас же установлена. И это послужило сигналом к полной катастрофе.

IX

Не надо забывать: полтора года — это очень долгий срок, и снова был разгар лета, то есть тот период, когда участие в семейных торжествах особенно тяжело для моих родственников. Безрадостно жуют они

коржики, грызут пряничные орешки, улыбаются застывшими улыбками, щелкая высохший миндаль, слушают неутомимый стук молотков и вздрагивают, когда румяный ангел над их головами начинает шептать: «Мир, мир»; но они терпят, хотя с них, несмотря на летние платья, градом льет пот, а рубашки прилипают к спине. Точнее сказать, они притерпелись.

Денежный вопрос пока еще не играет никакой роли — скорее наоборот. Прошел слухок, что дядя Франц позволяет себе и в делах прибегать к таким методам, которые вряд ли совместимы с понятием «купец и христианин». Он твердо решил не допускать уменьшения состояния, и эта решимость наполняет нас одновременно радостью и страхом.

После разоблачения бонвивана произошел форменный бунт, результатом которого явилось следующее соглашение: дядя Франц выразил готовность нанять за свой счет небольшой ансамбль для подмены его самого, Иоганна, моего зятя Карла и Люси, причем решено, что кто-нибудь из четве-

рых обязательно должен присутствовать на семейных торжествах собственной персоной, чтобы держать детей в страхе. Прелат, по счастью, до сих пор еще не открыл обмана, который вряд ли можно назвать словом «благочестивый». За исключением тетки и детей, он единственное подлинное лицо в этой игре.

Разработан точный план, известный всей родне под названием плана спектакля, а благодаря тому, что один из членов семьи должен каждый вечер присутствовать лично, актерам обеспечен, так сказать, выходной день. Кроме того, замечено, что актеры весьма охотно посещают торжества и не прочь подработать, на основании чего актерам снизили жалованье: в безработных актерах, по счастью, нет недостатка. Карл рассказывал мне, что есть надежда снизить жалованье еще больше, поскольку актеры получают даровой ужин, а искусство, как известно, становится дешевле, когда оно продается за кусок хлеба.

О роковых переменмах в характере Люси я уже рассказывал: теперь она почти все время проводит в ночных кабаре, а в те дни, когда ей приходится дежурить за праздничным столом, она становится как одержимая. Она расхаживает в вельветовых брючках, пестром пуловере, сандалиях, она обрезала роскошные волосы и носит примитивную челку, совсем недавно я узнал, что эта прическа называется «пони» и уже неоднократно входила в моду под этим названием. Пусть я не вправе пока обвинить Люси в открытой распущенности, пусть это пока скорее некоторая экзальтированность, которую сама Люси называет экзистенциализмом, но все же я не могу радоваться тому, что с ней произошло, лично я предпочитаю нежных женщин, которые вполне благопристойно кружатся под звуки вальса, умеют читать благозвучные стихи и пицца которых не состоит из одних только соленых огурцов и переперченного гуляша. Планы бегства, вынашиваемые Карлом, будут, кажется, скоро

осуществлены: он открыл какую-то страну поблизости от экватора, которая, судя по всему, отвечает его требованиям. Люси пребывает в полном восторге: жители этой страны носят костюмы, мало чем отличающиеся от ее костюмов, там любят острые приправы и танцуют в таком ритме, без которого Люси якобы уже не может существовать. Неприятно, конечно, что они не желают последовать правилу «Живи на земле и храни истину», но, с другой стороны, я понимаю, почему они хотят бежать.

А вот с Иоганном дело обстоит сложнее. Страшные слухи оказались справедливыми. Он стал коммунистом. Он окончательно порвал с семьей, ничем больше не интересуется, и на вечерах его постоянно заменяет дублер. В глазах у него появился фанатический блеск, он страстно, как дервиш, выступает на партийных собраниях, забросил адвокатскую практику и пишет гневные статьи в партийных газетах. Как ни странно, он теперь гораздо чаще встречается с Францем, и оба тщетно пытаются обратить друг друга в свою веру. При всем духовном отчуждении они заметно сблизились лично.

Самого Франца я давно не видел, только слышал о нем. Он, говорят, совершенно упал духом, посещает какие-то сумрачные церкви, и я думаю, что такое благочестие можно смело назвать чрезмерным. С тех пор как над семьей разразилось несчастье, он забросил свою профессию, а недавно я видел на стене разрушенного дома выгоревший плакат: «Последняя встреча нашего ветерана Ленца с Лекоком. Ленц вешает на гвоздь боксерские перчатки». Плакат был вывешен в марте, а сейчас уже конец августа. Франц очень опустился, мне кажется, он находится в таком состоянии, какого до сих пор не знал никто из членов нашей семьи: у него нет денег. К счастью, он остался холостяком, и социальные последствия его безответственного благочестия касаются только его самого. С неожиданным для него упорством он пытался перепоручить детей Люси Обществу защиты малолетних, ибо считал, что участие в ежевечерних торжествах их окончательно погубит. Но все его усилия остались тщетны: дети состоятельных родителей, слава Богу, покуда избавлены от всяких благотворительных учреждений.

Меньше других отошел от семьи, несмотря на ряд ужасных проступков, дядя Франц. Дело в том, что, невзирая на преклонный возраст, он завел себе любовницу, да и деловая практика его приобрела такой характер, что мы можем ею только восхищаться, но никак не одобрять. Недавно он раздобыл где-то безработного надсмотрщика и поручил ему присутствовать на вечерних торжествах и следить за тем, чтобы все шло гладко. И все действительно идет очень гладко.

XI

Между тем прошло почти два года — долгий срок. Я не мог отказать себе в удовольствии пройти во время вечерней прогулки мимо дядиного дома, где нельзя уже искать естественного гостеприимства, с тех пор как там собираются каждый вечер посторонние актеры, а сами члены семьи предаются сомнительным удовольствиям на стороне. Был прохладный летний вечер, когда я вышел пройтись. Завернув за угол, в каштановую аллею, я услышал песню «Сверкает лес под Рождество».

Проехавший мимо грузовик заглушил последние слова, я тихо подкрался к дому и заглянул в окно между неплотно задвинутыми занавесками. Сходство актеров с родственниками было настолько разительным, что я не сразу мог разобраться, кто из них лично осуществляет руководство на этом вечере — это у них так называлось. Гномов я не видел, но зато слышал. Их стук передается на такой волне, которая проникает сквозь все стены. Шепот ангела до меня не доходил. Тетка, казалось, была счастлива от души: она болтала с прелатом, и лишь позднее я узнал зятя Карла — единственное, если можно так выразиться, реальное лицо. Узнал я его потому, как он выпячивал губы, задувая спичку. Что ни говори, а неповторимые черты индивидуума все-таки существуют. При этом я подумал, что актеров угощают сигарами, сигаретами и вином, к тому же каждый вечер им подают спаржу. Если у них нет совести — а когда и у кого из актеров была совесть? — это означает лишний и очень значительный расход для дяди. Дети играют в углу — у них куклы и деревянный грузовик, они все бледненькие и очень усталые.

Пожалуй, о них действительно следует подумать. Меня осенила мысль, что детей можно бы заменить восковыми куклами, какие я видел в витринах аптек, где их используют как рекламу молочного порошка или питательного крема. На мой взгляд, эти куклы выглядят вполне естественно.

Когда-нибудь я непременно обращу внимание всей родни на то, как это необычное и ежедневное напряжение может искалечить детские души. Хотя некоторая доля дисциплины им не повредит, здесь, по-моему, дисциплины больше чем надо.

Я покинул свой наблюдательный пост, когда в доме затянули «Тихую ночь». Я просто не выношу эту песню. Было довольно прохладно, и мне на мгновение показалось, будто я присутствую на сборище призраков. Вдруг мучительно захотелось соленых огурцов, и я впервые, хоть и отдаленно, представил себе, как, должно быть, страдала Люси.

XII

Со временем мне удалось добиться подмены детей восковыми куклами. Запросили очень

дорого, и дядя Франц долго сопротивлялся, — но нам никто не простил бы, если бы мы и впредь продолжали ежедневно пичкать детей марципанами и заставлять их петь такие песни, которые надолго нарушат их психику. Приобретение кукол оказалось полезным: Люси и Карл действительно смогли уехать, а Иоганн забрал своих детей из отцовского дома. Окруженный со всех сторон всякими заморскими грузами, я прощался с Карлом, Люси и детьми. Все выглядели страшно счастливыми, хотя и несколько взволнованными. Иоганн тоже уехал из нашего города. Он реорганизует отделение своей партии где-то в другом месте.

А дядя Франц устал от жизни. На днях он горько жаловался мне, что прислуга вечно забывает смахивать пыль с кукол. И вообще, у него большие затруднения с посыльными, а актеры понемногу отбиваются от рук. Они пьют куда больше, чем полагается, а некоторых даже поймали на том, что они таскают сигары и сигареты. Я посоветовал дяде ставить на стол вместо вина подкрашенную воду и подавать бутафорские сигары.

По-прежнему благонадежны моя тетка и прелат. Они весело болтают друг с другом про доброе старое время, хихикают, судя по всему, очень довольны собой и прерывают разговор лишь тогда, когда надо затянуть очередную песню.

Короче — праздник продолжается.

А с моим кузеном Францем произошло что-то странное. Он поступил послушником в соседний монастырь. Когда я впервые увидел Франца в рясе, я просто испугался: высокая фигура, нос расплющен, толстые губы и мрачный взгляд. Он напоминал скорее арестанта, нежели монаха, и, казалось, угадал мои мысли.

— Мы приговорены к жизни, — тихо сказал он.

Я последовал за ним в приемную комнату. Наша беседа прерывалась долгими паузами, и он облегченно вздохнул, едва колокол позвал его на молитву. Я задумчиво глядел ему вслед, когда он ушел: он очень спешил, и эта поспешность показалась мне искренней.

ЧТО-ТО ПРОИЗОЙДЕТ

История, полная действия (1956)

Пожалуй, одним из самых удивительных периодов моей жизни стало время, когда я работал на фабрике Альфреда Вунзиделя. По природе своей я больше склонен к задумчивости и безделью, нежели к работе, но иногда затяжные финансовые трудности — ведь задумчивость дает не больше дохода, чем безделье, — вынуждают меня занимать какую-нибудь так называемую должность. В очередной раз оказавшись в столь незавидном положении, я доверился бюро по трудоустройству и вместе с семьей товарищами по несчастью был послан на фабрику Вунзиделя, где нам предстояло пройти проверку на профпригодность.

Уже внешний вид фабрики заставил меня насторожиться: здание было выстроено из стеклоблоков, а к светлым зданиям и помещениям я испытываю такую же сильную неприязнь, как и к труду. Настороженность моя возросла, когда в светлой, расписанной в жизнерадостные тона столовой нам сразу же подали завтрак: миловидные официантки принесли яйца, кофе и тосты, на столах стояли изящные графины с апельсиновым соком; золотые рыбки прижимались равнодушными личиками к светло-зеленым стенкам аквариумов. Официантки были столь радостны, что казалось, вот-вот лопнут от радости. Лишь усилием воли — так мне казалось — они удерживались от радостного пения. Неспетые песни переполняли их, как неснесенные яйца переполняют куриц. Я сразу же догадался о том, что моим товарищам по несчастью, видимо, не пришло в голову: этот завтрак — уже часть проверки; поэтому я принялся самозабвенно жевать, с сосредоточенностью человека, полностью сознающего,

что он снабжает свой организм ценными питательными веществами. Я сделал то, что в обычной жизни никогда бы не сделал: выпил апельсиновый сок натощак, не притронулся к кофе и яйцу, не доел большую часть тоста, вышел из-за стола и стал расхаживать по столовой, как человек, которому не терпится приступить к делу.

Так что меня первым проводили в экзаменационную комнату, где на симпатичных столиках лежали анкеты. Стены были выкрашены в тот оттенок зеленого, который фанатичные любители устройства интерьеров называли бы «изумительным». В помещении никого не было, однако же я ничуть не сомневался, что за мною наблюдают, и вел себя так, как ведет себя человек, которому не терпится приступить к делу, когда думает, что его никто не видит: я нетерпеливо вынул из кармана перьевую ручку, открутил колпачок, сел за ближайший стол и придвинул к себе листок анкеты, подобно тому, как холерики хватаются за счет в ресторане.

Вопрос первый. Считаете ли вы правильным, что у человека всего две руки, две ноги, по одной паре глаз и ушей?

И тут я впервые пожал плоды своей задумчивости и без колебаний написал: «Будь у меня хоть по четыре руки, ноги и уха, этого не хватило бы для моего энтузиазма. Оснащение человека достойно сожаления».

Вопрос второй. Каким количеством телефонов вы можете пользоваться одновременно?

Ответ оказался и здесь столь же прост, как решение линейного уравнения. «Когда у меня всего семь телефонов, — написал я, — я теряю терпение и только при наличии девяти чувствую, что работаю в полную силу».

Вопрос третий. Чем вы занимаетесь на досуге?

Мой ответ: «Мне более не известно слово „досуг“ — я вычеркнул его из своего словаря в пятнадцатый день рождения, ибо вначале было дело».

Я получил эту должность. На самом деле даже девяти телефонов мне не хвата-

ло, чтобы работать в полную силу. Я кричал в телефонные трубки: «Немедленно действуйте!» или «Сделайте что-нибудь! — Что-то должно произойти. — Что-то произойдет. — Что-то произошло. — Что-то должно было произойти». Но в основном — поскольку мне казалось, что это лучше всего сообразуется с обстановкой, — я использовал повелительное наклонение.

Интересно было в столовой во время обеденных перерывов, когда мы, окруженные тихой радостью, потребляли пищу, богатую витаминами. Фабрика Вунзиделя кишела людьми, которых просто распирало от желания рассказать свою биографию, как и подобает деятельным личностям. Рассказ о жизни им важнее, чем сама жизнь, стоит лишь нажать на кнопку, как он выплескивается из них во всей красе.

Заместителем Вунзиделя был человек по фамилии Брошек, который тоже добился некоторой известности, поскольку еще студентом обеспечивал семерых детей и парализованную женщину, работая по ночам, успешно исполнял обязан-

ности торгового представителя четырех фирм сразу и к тому же с отличием выдержал два государственных экзамена за два года. Однажды журналисты спросили его: «Когда же вы спите, Брошек?», и он ответил: «Сон есть грех!»

Секретарша Вунзиделя обеспечивала парализованного мужчину и четверых детей, зарабатывая вязанием, одновременно защитила две диссертации по психологии и краеведению, разводила овчарок и прославилась как ресторанный певица под именем *Вамп Семь*.

Сам Вунзидель был из тех людей, что, едва проснувшись поутру, уже полны решимости действовать. «Мне нужно действовать», — думают они, энергично завязывая пояс халата. «Мне нужно действовать», — думают они, проводя бритвой по щекам, и победоносно смотрят на щетину, которую смывают со станка вместе с мыльной пеной: вот эти останки волосяного покрова и есть первые жертвы их жажды деятельности. Даже еще более интимные процессы эти люди воспринимают как полезную работу: вода шумит,

бумага используется. Что-то происходит. Хлеб съедается, яйцо лишается макушки.

Самые несложные движения в исполнении Вунзиделя становились деятельностью: как он надевал шляпу, как он — подрагивая от энергичности — застегивал пальто, поцелуй, которым он одаривал жену, — все было действие.

Войдя в свой кабинет, он громко приветствовал секретаршу: «Что-то должно произойти!» И та бодро отзывалась: «Что-то произойдет!» Затем Вунзидель проходил по всем отделам, восклицая свое радостное «Что-то должно произойти!». И все ему отвечали: «Что-то произойдет!» Когда он заходил в мой кабинет, я тоже лучезарно выкрикивал: «Что-то произойдет!»

За первую неделю я увеличил число своих телефонов до одиннадцати, за вторую — до тринадцати, мне доставляло удовольствие изобретать по утрам в трамвае новые формы повелительного наклонения и прогонять глагол «происходить» через разные времена, разные грамматические роды, в наклонениях сослагатель-

ном и изъяснительном; два дня подряд я произносил только одно предложение, поскольку счел его красивым: «Что-то должно было бы произойти», два других дня — другое: «Этому нельзя было бы произойти».

Я уже начинал чувствовать, что действительно работаю в полную силу, как вдруг что-то и в самом деле произошло. Однажды во вторник утром — я даже еще не успел как следует усесться — Вунзидель ворвался в мой кабинет и крикнул свое «Что-то должно произойти!». Однако нечто необъяснимое в его лице заставило меня замешкаться с ответом, радостным и бодрым, как положено: «Что-то произойдет!» По-видимому, я медлил слишком долго, так что Вунзидель, вообще-то редко выходявший из себя, заорал: «Отвечайте же! Отвечайте, как полагается!» А я ответил тихо и неохотно, словно ребенок, которого заставляют сказать «Я плохой мальчик». Лишь с большим трудом я выговорил фразу «Что-то произойдет», и едва я успел это произнести, как что-то и вправду произошло: Вунзидель рухнул

на пол, перевернувшись на бок, и остался лежать перед открытой дверью. Я сразу понял то, в чем убедился, медленно выйдя из-за стола и приблизившись к упавшему, — он умер.

Качая головой, я перешагнул через Вунзиделя, не спеша направился по коридору к кабинету Брошека и вошел к нему без стука. Брошек сидел за письменным столом, держа в каждой руке по телефонной трубке, ручкой, зажатой во рту, он делал пометки в блокноте, а босыми ногами работал на вязальной машинке, стоявшей под столом. Так он вносил вклад в пополнение гардероба своей семьи.

— Кое-что произошло, — тихо сказал я.

Брошек выпустил изо рта ручку, положил обе трубки, нехотя оторвал пальцы ног от вязальной машинки.

— И что же произошло? — спросил он.

— Господин Вунзидель умер, — сказал я.

— Нет, — сказал Брошек.

— Да, — сказал я, — пойдете!

— Нет, — сказал Брошек, — это невозможно, — но сунул ноги в шлепанцы и последовал за мной по коридору.

— Нет, — сказал он, когда мы стояли над трупом Вунзиделя, — нет, нет!

Возражать я не стал. Я осторожно перевернул Вунзиделя на спину, закрыл ему глаза и задумчиво посмотрел на него.

Я почувствовал к нему почти что нежность, и впервые мне стало ясно, что я никогда его не ненавидел. В его лице было что-то от ребенка, который упорно отказывается верить, что Деда Мороза нет, как бы убедительны ни были доводы просвещенных сверстников.

— Нет, — повторил Брошек, — нет.

— Что-то должно произойти, — тихо сказал я Брошеку.

— Да, — сказал Брошек, — что-то должно произойти.

Что-то произошло: Вунзиделя похоронили, а мне поручили нести за его гробом венок из искусственных роз, ведь я наделен не только склонностью к задумчивости и безделью, но еще и такими фигурой и лицом, которые идеально сочетаются с черным костюмом. Очевидно, шагая с венком из искусственных роз за гробом Вунзиделя, выглядел я просто великолепно.

но. Одно солидное похоронное бюро предложило мне должность профессионального скорбящего. «Вы — прирожденный скорбящий, — сказал руководитель, — гардероб мы вам предоставим. Ваше лицо — просто великолепно!»

Я подал Брошеку заявление об увольнении, обосновав его тем, что чувствую себя недостаточно загруженным и, несмотря на тринадцать телефонов, часть моих способностей не востребованна. После первого же профессионального участия в траурной церемонии я понял: вот это мое, вот место, мне предназначенное.

Задумчиво я стою у гроба в траурной часовне, со скромным букетом в руке, пока играет «*Largo*» Генделя — музыкальное произведение, которому уделяют незаслуженно мало внимания. В кафе у кладбища я стал постоянным клиентом, там я провожу время между рабочими сеансами, но иногда шагаю за гробом и без вызова, покупаю букет цветов за свои деньги и присоединяюсь к сотруднику социальной службы, сопровождающему гроб усопшего бездомного. Время от времени я захожу и

на могилу Вунзиделя, в конце концов, это ему я обязан тем, что нашел свое истинное призвание, профессию, где задумчивость как раз приветствуется, а безделье — вменяется в обязанность.

Лишь много позже мне пришло в голову, что я никогда не интересовался, какой же товар выпускает фабрика Вунзиделя. Наверное, какое-нибудь мыло.

СТОЛИЧНЫЙ ДНЕВНИК

Понедельник

К сожалению, я приехал так поздно, что уже нельзя было ни погулять, ни зайти к кому-нибудь; в гостиницу я прибыл в 23.30, и к тому же устал. Мне не оставалось ничего иного, как поглядеть на город из окна отеля; жизнь здесь так и бьет ключом, клокочет и бурлит, буквально через край переливается; в этом городе много нерастраченной энергии, которая когда-нибудь еще проявится. Да, наша столица пока не стала тем, чем она могла бы стать.

Я закурил сигару — как увлекательно, какой заряд бодрости! Некоторое время я колебался, не позвонить ли мне Инн, но в конце концов со вздохом отказался от этой мысли и вновь углубился в изучение моих

важных бумаг. В постель я лег около полуночи, здесь я всегда ложусь спать неохотно. Столичная жизнь не благоприятствует сну.

Тогда же. Ночью

Мне приснился диковинный, на редкость диковинный сон: будто я иду по лесу монументов, монументы расположены ровными рядами; на небольших полянах разбиты изящные скверики, посреди которых опять-таки высятся монументы, сплошь одинаковые, их сотни, даже тысячи — на постаменте мужчина, стоящий по стойке «вольно», видимо офицер, если судить по мягким складкам на сапогах, хотя грудь, лицо и пьедестал повсюду еще завешены покрывалом; но вот внезапно со всех монументов разом спадают покровы, и я вижу — собственно говоря, без особого удивления, — что на всех постаментах стою... я. Я двигаюсь, улыбаюсь и читаю свое имя — ведь покровы с постаментов тоже спали, — читаю свое имя, запечатленное много тысяч раз: *Эрих фон Махорка-Муфф*. Я смеюсь, и смех возвращается ко мне, тысячекратно повторенный мною самим.

Вторник

Снова я заснул, переполненный ощущением невиданного счастья; проснулся свежий и с улыбкой посмотрел в зеркало — такие сны видишь только в столице. Я еще брился, когда в первый раз позвонила Инн. (Так я называю свою старую приятельницу Иннигу фон Цастер-Пенунц, Цастеры не из старой аристократии, хотя род у них солидный. Но несмотря на то что Эрнст фон Цастер, отец Инниги, был возведен в дворянское достоинство всего лишь за два дня до отречения кайзера, я не колеблясь считаю Инн себе ровней.)

Инн была, как всегда, нежна и, посплетничав немножко, дала мне понять в своей обычной манере, что проект, ради которого я прибыл в столицу, успешно продвигается.

— Наши дела идут как по маслу, — сказала она тихо и прибавила, чуточку помолчав: — Еще сегодня мы окрестим младенца. — Опасаясь, как бы я от нетерпения не начал задавать вопросы, она быстро повесила трубку.

В раздумье я отправился завтракать: имела ли она в виду закладку фундамента? Порой

я, прямодушный старый вояка, не понимаю Инн, ведь она все зашифровывает.

В ресторане, как обычно, я обнаружил много энергичных лиц, преимущественно чистой расы; по привычке я коротал время, соображая, кого на какой должности можно использовать; не успел я очистить яйцо, как уже наилучшим образом укомплектовал два штаба полка и один штаб дивизии, причем у меня еще остались люди для генерального штаба; конечно, это всего лишь игра, но знатоку человеческих душ вроде меня она все же приносит усладу. При воспоминании о недавнем сне мое хорошее настроение еще улучшилось. Удивительно — гулять по лесу, сплошь состоящему из монументов, в каждом из которых узнаешь себя! Удивительно! Психологи, увы, не постигли еще все глубины человеческого «я»!

Кофе я приказал подать в холл; закурив сигару, я не без улыбки стал следить за часовой стрелкой — было девять часов пятьдесят шесть минут: будет ли Хеффлинг точен? Вот уже шесть лет, как мы не виделись, правда, время от времени подавали друг другу весточку (обычный обмен открытками, как

водится между командиром и одним из нижних чинов).

Я поймал себя на том, что меня очень волнует, будет ли Хеффлинг пунктуален; по натуре я склонен усматривать во всем симптомы: пунктуальность Хеффлинга служит в моих глазах мерилom пунктуальности рядового состава в целом. Растроганный, я вспомнил одно из изречений моего старого командира дивизии Велька фон Шномма, который, бывало, говорил: «Махо, вы идеалист и всегда таковым останетесь». (Не забыть внести плату, чтобы возобновить уход за могилой Шномма!)

Правда ли, что я идеалист? Я погрузился в размышления; к действительности меня вернул голос Хеффлинга, прежде всего я посмотрел на часы — было две минуты одиннадцатого (такой минимальный запас самостоятельности я всегда предоставлял Хеффлингу), потом взглянул на него: до чего же парень раздобрел — вокруг шеи жировые складки, волосы поредели, зато в глазах у Хеффлинга я по-прежнему видел эротический блеск, а его слова: «Явился по вашему приказанию, господин полков-

ник!» — прозвучали совсем как в старые времена.

— Хеффлинг! — воскликнул я, хлопая его по плечу, и заказал для него двойную порцию водки. Взяв рюмку с подноса кельнера, он приосанился, но я дернул его за рукав, повел в укромный уголок, где мы и углубились в воспоминания.

— Помните, тогда под Швихи-Швалохе, помните девятую?..

Приятно убеждаться в том, что здоровый характер нашего народа почти не пострадал от всяких этих новомодных штучек, в народе мы все еще встречаем грубоватое простодушие, мужской юмор и неизменный вкус к соленой шутке.

В то время как Хеффлинг полушепотом рассказывал мне очередной вариант одного старого анекдота, я увидел, как Муркс-Малохе вошел в зал и, согласно нашей договоренности, не подходя ко мне, исчез в задних комнатах ресторана. Взглянув на часы, я дал Хеффлингу понять, что спешу, и он со свойственным простому народу здоровым тактом сразу сообразил, что ему пора идти.

— Заходите к нам как-нибудь, господин полковник, моя супружница будет очень рада. — Громко смеясь, мы отправились вместе с ним к комнатке портъе, и я обещал Хеффлингу навестить его. Быть может, у меня завяжется интрижка с его женой, время от времени во мне просыпается аппетит к грубой эротике низших классов, и кто знает, какую стрелу припас для меня амур в своем колчане?

Я сел рядом с Мурксом, заказал коньяк и, когда кельнер ушел, произнес со свойственной мне прямоотой:

— А ну, выкладывай, дело действительно выгорело?

— Да, мы все обстряпали. — Муркс положил свою руку на мою и прошептал: — Я так рад, так рад, Махо.

— Я тоже рад, — сказал я растроганно, — рад, что один из моих юношеских снов воплотился в жизнь. И произошло это в демократическом государстве.

— Демократия куда лучше, чем диктатура, если только парламентское большинство на нашей стороне.

Я почувствовал потребность встать, на душе у меня было празднично, исторические минуты всегда вдохновляли меня.

— Муркс, — сказал я со слезами умиления в голосе, — значит, это действительно правда?

— Правда, Махо, — ответил он.

— Она создана?

— Да, создана... сегодня ты произнесешь речь по случаю ее торжественного открытия. Первый курс уже набран. Слушатели размещены по гостиницам, но это временно, пока проект не будет доведен до сведения публики.

— А публика проглотит это?

— Проглотит. Она все глотает, — сказал Муркс.

— Встань, Муркс, — произнес я, — давай выпьем за боевой дух, который воцарится в этом учреждении, за дух военных воспоминаний.

Мы чокнулись и выпили.

Я был так потрясен в то утро, что оказался неспособным предпринять еще что-либо серьезное; не в силах успокоиться, я пошел

к себе в номер, оттуда в холл, а потом, когда Муркс уехал в министерство, отправился бродить по городу, обворожившему меня. Я был в штатском, но, несмотря на это, мне вдруг показалось, будто на боку у меня палаш и будто я все время тащу его за собой, — есть чувства, для которых во что бы то ни стало требуется мундир. И пока я шатался по городу, предвкушая свидание с Инн, окрыленный сознанием того, что мой план воплотился в жизнь, мне снова вспомнились слова Шномма. «Махо, Махо, — часто говорил он, — ты всегда витаешь в облаках». Он говорил это и тогда, когда в моем полку насчитывалось всего тринадцать солдат и четырех из них я приказал расстрелять как бунтовщиков.

В честь торжественного дня я позволил себе выпить около вокзала аперитив, перелистал газеты, бегло просмотрел несколько передовиц, посвященных обороне, и попробовал представить себе, что сказал бы он, если бы был жив и прочел эти статьи. «Вот так христианские демократы, — заметил бы он, — вот так христианские демократы, кто бы мог от них такого ожидать!»

Наконец настало время идти в отель, чтобы переодеться перед встречей с Инн; услышав сигнал ее автомобиля — бетховенскую мелодию, — я выглянул в окно, она помахала мне рукой из своей лимонно-желтой машины, у нее были лимонно-желтые волосы, лимонно-желтое платье и черные перчатки. Послав ей воздушный поцелуй, я со вздохом подошел к зеркалу, завязал галстук и спустился по лестнице; Инн была бы подходящей женой для меня, но она разводилась уже семь раз, и немудрено, что относится скептически ко всякому брачному эксперименту; кроме того, между нами лежит идеологическая пропасть: Инн происходит из чисто протестантской семьи, а я — из чисто католической; и все же мы символически связаны между собой числами: она семь раз разводилась, я был семь раз ранен. Инн! Я еще не совсем привык к тому, что меня целуют посреди улицы...

Инн разбудила меня приблизительно в шестнадцать часов семнадцать минут: крепкий чай и имбирное печенье были уже на столе, мы быстро проглядели еще раз материалы о незабвенном маршале Хюрлангере-

Хиссе, памяти которого решено было посвятить наше детище.

Зазвучал марш, я услышал его, когда, положив руку на плечо Инн и еще не остыв от недавних любовных утех, изучал документы, касающиеся Хюрлангера. Мне взгрустнулось: ведь и эту музыку, и все, что случилось со мной сегодня, было несказанно тяжело переживать в штатском.

Звуки марша и близость Инн отвлекали меня от штудирования документов, но Инн уже достаточно рассказала о Хюрлангере, так что я был вполне вооружен для своей речи. Когда Инн наливала мне вторую чашку чаю, раздался звонок, я испугался, однако Инн успокаивающе улыбнулась.

— Почтенный гость, — сказала она, возвращаясь из передней. — Такого гостя мы не можем принять здесь. — С усмешкой она показала на развороченную постель, где все еще царил очаровательный любовный беспорядок. — Пошли, — сказала она.

Я встал и в некотором смущении последовал за ней; увидев у нее в гостиной военного министра, я был глубоко удивлен. Простодушное, открытое лицо министра сияло.

— Генерал фон Махорка-Муфф, — сказал он восторженно, — добро пожаловать в столицу!

Я не верил собственным ушам. Усмехаясь, министр вручил мне приказ о моем производстве в генералы.

Когда я вспоминаю об этом дне, мне кажется, что в тот момент я пошатнулся и с трудом сдержал слезы, однако же сказать точно, что происходило в глубине моего существа, не могу, помню только, что у меня вырвалось:

— Но, господин министр... как же с мундиром... ведь до начала церемонии всего полчаса...

С ухмылкой министр взглянул на Инн — о, как благороден этот человек! — Инн улыбнулась ему в ответ, отодвинула цветастую занавеску, отделявшую уголок комнаты, и я увидел его, увидел мой мундир со всеми орденами...

События и переживания следовали друг за другом с такой быстротой, что, оглядываясь назад, я могу лишь вкратце зафиксировать их ход.

Пока я переодевался в комнате Инн, министр подкрепился глотком пива.

Затем поездка на земельный участок, которого я никогда еще не видел; меня необычайно тронул вид местности, где должен воплотиться в жизнь мой любимейший проект — Академия по сбору военных воспоминаний; каждый бывший военно-служащий от майора и выше получит возможность создавать там мемуары, беседуя с товарищами, работая совместно с военно-историческим отделом министерства. Я полагал, что можно ограничиться шестинедельным курсом, но парламент готов предоставить средства для трехмесячного. Кроме того, я собирался поселить в специальном флигеле нескольких здоровых девушек из народа, дабы они услаждали старых, беспощадно терзаемых воспоминаниями вояк в свободные вечерние часы. Очень много усилий понадобилось мне для того, чтобы найти нужные изречения. Так, на главном корпусе золотыми буквами будет начертано: «*Memoria dextera est*»*; для флигеля с девушками, где должны помещаться также

* Память не ошибается (*лат.*).

ванные комнаты, я подобрал совсем другую надпись: «Balneum et amor Martis decor»*. Но по пути министр дал мне все же понять, что об этой части проекта пока не стоит распространяться: он опасался — может быть, не без оснований — возражений со стороны своих коллег по христианской фракции, хотя и сообщил с ухмылкой, что на недостаток либерализма у них пожаловаться нельзя.

Окрестности были украшены флагами; когда я вместе с министром подходил к трибуне, оркестр заиграл «Был у меня товарищ». Министр из присущей ему скромности не захотел взять предоставленное слово, и тогда я сразу же поднялся на трибуну, оглядел ряды соратников, выстроившихся передо мной, и, заметив, что Инн подмигнула мне в знак одобрения, начал:

— Господин министр, друзья! Цель этого учреждения, которое будет называться *Академией по сбору военных воспоминаний имени Хюрлангера-Хисса*, не нуждается в оправданиях, зато в оправдании нуждается сам Хюрлангер-Хисс, имя которого долго — я бы сказал, вплоть до сегодняшнего дня —

* Баня и любовь — награда воину (лат.).

считалось опозоренным. Вы все знаете, какое пятно лежит на нем: когда армия маршала Эмиля фон Хюрлангера-Хисса была вынуждена отступить под Швихи-Швалохе, Хюрлангер-Хисс сумел доказать, что он потерял всего лишь восемь тысяч пятьсот человек. А между тем, согласно подсчетам сведущих специалистов Тапира по вопросам отступления — Тапиром мы, как вы знаете, называли в своем кругу Гитлера, — армия Хюрлангера, прояви она надлежащий боевой дух, должна была понести потери в количестве двенадцати тысяч трехсот человек. Господин министр, друзья! Все вы знаете также, какому позорному наказанию подвергся Хюрлангер-Хисс: его перевели в Биарриц, где он умер, отравившись омарами. Долгие годы, целых четырнадцать лет, позорное пятно лежало на его имени. Весь материал об армии Хюрлангера попал в руки подручных Тапира, а позднее в руки союзников, но сегодня, сегодня, — я повысил голос, а потом сделал паузу, чтобы следующие слова прозвучали с надлежащей выразительностью, — сегодня можно считать доказанным — и с этой целью я готов

передать гласности все материалы, — можно наконец-то считать доказанным, что армия нашего досточтимого маршала понесла под Швихи-Швалохе потери в количестве четырнадцати тысяч семисот человек, повторяю, в количестве четырнадцати тысяч семисот человек; таким образом, можно считать установленным, что армия Хюрлангера сражалась с беспримерным мужеством, и теперь имя маршала вновь сияет во всей своей красе.

Мои слова были встречены оглушительными аплодисментами, но я, как человек скромный, знаком дал понять, чтобы чувствовали не меня, а министра, и в то же время, оглядывая лица товарищей, понял, что все присутствующие ошеломлены сообщением о Хюрлангере — вот до чего искусно проводила Инн свои изыскания!

Под звуки песни «На востоке встает заря для нас» я взял из рук каменщика мастерок и кирпич и заложил первый камень, в который были вделаны фотография Хюрлангера-Хисса и один из его двух погон.

Затем колонна во главе со мной промаршировала к вилле «У золотого Цастера»;

семья Инн предоставила ее в наше распоряжение до того времени, пока не будет выстроено здание Академии. Здесь нас ждала краткая, но крепкая выпивка, министр произнес благодарственную речь, и нам зачитали телеграмму канцлера, после чего началась художественная часть.

Открыли художественную часть семь бывших генералов, игравших на семи барабанах; произведению, которое они исполнили, было с разрешения композитора — капитана с артистическими наклонностями — присвоено название: «Септет памяти Хюрлангера-Хисса». Художественная часть прошла очень успешно: мы пели песни, рассказывали анекдоты, многие обнимались, все старые распри были забыты.

Среда

У нас оставался еще час времени, чтобы подготовиться к торжественному богослужению, примерно в семь часов тридцать минут мы строем отправились к собору. В церкви Инн стояла рядом со мной; я развеселился, когда она шепнула мне, что один из присутствующих полковников ее второй муж,

один из подполковников — пятый, а один из капитанов — шестой.

— Зато твой восьмой будет генералом, — шепнул я ей.

Да, я уже принял решение! Инн покраснела, но после богослужения не колеблясь пошла вместе со мной в ризницу, где я представил ее прелату, который служил мессу.

— В самом деле, дорогая, — сказал прелат, после того как мы обсудили церковно-правовую сторону вопроса, — поскольку ни один из ваших предыдущих браков не был освящен церковью, я не вижу никаких препятствий оформить ваш брак с господином генералом фон Махорка-Муфф церковным порядком.

После столь счастливых предзнаменований наш завтрак вдвоем с Инн прошел очень весело. Инн была в особенно приподнятом настроении, такой я ее никогда не видел.

— Это бывает со мной всякий раз, — сказала она, — когда я становлюсь невестой.

Я заказал шампанское.

Чтобы хоть как-то отпраздновать нашу помолвку, которую мы пока решили дер-

жать в секрете, мы с Инн поднялись на Петербург, где нас пригласила к обеду кузина Инн — урожденная Цехине. Кузина была очаровательна.

Послеобеденное время и вечер были посвящены любви, ночь — сну.

Четверг

Я все еще не могу привыкнуть к мысли, что живу и работаю здесь — это слишком невероятно; утром читал первую лекцию: «Воспоминания как историческая миссия».

Днем — неприятности. По поручению министра ко мне на виллу «У золотого Цастера» приехал Муркс-Малохе и сообщил, что оппозиция неодобрительно высказалась о нашем проекте создания Академии.

— Оппозиция? — спросил я. — Это еще что такое?

Муркс объяснил. У меня было такое чувство, словно я упал с неба на землю.

— В чем дело? — спросил я нетерпеливо. — Есть у нас большинство в парламенте или его у нас нет?

— Оно у нас есть, — сказал Муркс.

— Так о чем же речь? — спросил я. —
Оппозиция — странное слово, оно мне
совершенно не нравится, это слово роковым
образом напоминает о тех временах, кото-
рые, как я полагал, уже канули в Лету.

Когда за чаем я сообщил Инн о неприят-
ностях, она принялась утешать меня.

— Эрих, — сказала она и положила свою
маленькую ручку на мою, — никто никогда
не был в силах противостоять нашей семье.

ВЫБРАСЫВАТЕЛЬ

Вот уже несколько недель я стараюсь не встречаться с людьми, которые могут поинтересоваться моей профессией; но если бы меня все-таки вынудили как-то назвать работу, что я выполняю, мне пришлось бы произнести слово, которое современника приведет в ужас. Посему я предпочитаю изложить это признание на бумаге, описательным образом.

Всего несколько недель назад я был готов в любой момент назвать себя и вслух; я чуть ли не навязывался, представлялся изобретателем, ученым-одиночкой, в крайнем случае — студентом, в легком патетическом опьянении — непризнанным гением. Я грелся в тепле той радостной славы, которую способен излучать изношенный ворот-

ник, с хвастливой самоуверенностью требовал кредита у недоверчивых продавцов, а те с сомнением его предоставляли и смотрели, как маргарин, суррогатный кофе и плохой табак исчезают в карманах моего пальто; я наслаждался своей неряшливой аурой и упивался на завтрак, обед и ужин густым богемным медом — чувством глубокого счастья оттого, что я чужд обществу.

Однако уже несколько недель я каждое утро в половине восьмого сажусь в трамвай на углу Роонштрассе, скромно, как и остальные пассажиры, показываю кондуктору недельный проездной; на мне серый двубортный пиджак, зеленая рубашка, галстук зеленоватого оттенка; с собой бутерброд на завтрак в плоской алюминиевой коробке, в руке утренняя газета, свернутая в легенькую дубинку. Я представляю собой образец гражданина, которому удалось избежать задумчивости. После третьей остановки я встаю и уступаю место одной из пожилых работниц, вошедших у поселка временного размещения. Принеся свое сидячее место в жертву социальной ответственности, я продолжаю читать газету стоя и иногда

говоря что-нибудь примирительное, когда современников одолевает утреннее раздражение; искореняю некоторые грубейшие политические и исторические заблуждения (например, разъясняю соотечественникам, что между СА и США все-таки есть определенная разница); когда кто-нибудь собирается закурить, вежливо подношу зажигалку ему под нос и своим слабым, но надежным огоньком зажигаю утреннюю сигарету. Вот так я завершаю образ приличного согражданина в таком возрасте, что его еще можно назвать «благовоспитанным».

Несомненно, мне вполне удалась маска, исключая вопросы о моей профессии. Вероятно, я произвожу впечатление образованного господина, который торгует товарами, хорошо упакованными и хорошо пахнущими: кофе, чаем, специями, или маленькими драгоценными вещицами, радующими глаз: украшениями, часами; который ведет дела в приятно старомодной конторе, где на стенах висят темные картины, изображающие моих предшественников, занятых делом; который около десяти звонит супруге, стараясь придать своему как

будто бесстрастному голосу оттенок нежности, и тогда в нем слышатся любовь и забота. А поскольку я еще и принимаю живое участие в обычных шутках и каждое утро не сдерживаю смеха, когда чиновник городской администрации на Шлиффенштрассе кричит пассажирам трамвая: «Укреплять только левый фланг!»* (или там на самом деле был правый?), поскольку я, читая газету, не стесняюсь комментировать последние новости и результаты лотереи, то меня наверняка считают человеком хоть и состоятельным, о чем говорит качество костюма, но таким, чье мироощущение глубоко коренится в основах демократии. Аура порядочности окружает меня, как стеклянный гроб — Белоснежку.

Когда трамвай обгоняет грузовик и за окном на мгновение появляется темный фон, я проверяю выражение своего лица: все-таки не слишком ли оно задумчивое, почти скорбное? Усердно стираю с физио-

* «Укреплять только правый фланг!» — предсмертная фраза прусского генерал-фельдмаршала Альфреда фон Шлиффена (1833–1913), разработавшего стратегический план молниеносного вторжения во Францию через правый фланг фронта. (Здесь и далее примеч. перев.)

номии остатки размышлений и стараюсь придать ей надлежащее выражение: не замкнутое и не доверчивое, не поверхностное и не глубокомысленное.

Мне кажется, моя маскировка удалась, ведь, когда я выхожу на Мариенплац, теряясь в сутолоке Старого города, где хватает приятно старомодных контор, например нотариальных, и всяческих канцелярий, никто не подозревает, что я захожу через служебный вход в здание фирмы «Убия», которая может похвастаться тем, что дала работу тремстам пятидесяти сотрудникам и застраховала жизни четырехсот тысяч клиентов. У служебного входа меня с улыбкой встречает вахтер, я прохожу мимо него, спускаюсь в подвал и принимаюсь за работу, которую нужно закончить, прежде чем служащие в 8.30 устремятся в свои кабинеты. Деятельность, которой я занимаюсь в подвале этой уважаемой фирмы с 8.00 до 8.30 утра, посвящена исключительно уничтожению. Я выбрасываю.

У меня ушли годы на то, чтобы изобрести эту профессию, математически обосновать ее; я писал научные труды; стены моей

квартиры были увешаны графиками — они висят до сих пор. Годами я ползал по абсциссам и карабкался по ординатам. Я блаженно погружался в теории и наслаждался леденящим дурманом, который могут вызывать формулы. Однако с тех пор, как я занимаюсь этой профессией на практике, вижу воплощение своих теорий, меня наполняет такая же горечь, какую, вероятно, испытывает генерал, вынужденный спуститься с высот военной стратегии в окопы низменной тактики.

Я захожу в свою рабочую комнату, меняю добротный пиджак на серый рабочий халат и незамедлительно берусь за дело. Открываю мешки, которые вахтер спозаранок приносит с главпочтамта, высыпаю их содержимое в два больших деревянных лотка, изготовленных по моим эскизам и прикрепленных к стене справа и слева от рабочего стола, так что мне, почти как пловцу, нужно лишь попеременно протягивать руки, и начинаю быстро сортировать корреспонденцию. Сначала я отделяю печатный мусор от писем — чистая рутина, так как для этого мне достаточно взглянуть на почто-

вую марку. Благодаря знанию почтовых тарифов мне не приходится раздумывать над каждым конвертом. Натренировавшись за несколько лет экспериментов, я выполняю эту работу за полчаса. Половина девятого: слышу над головой шаги служащих, которые устремляются в свои кабинеты. Звоню вахтеру, и тот разносит отсортированные письма по отделам. И каждый раз мне становится грустно, когда вахтер уносит жестяную коробку размером со школьный ранец — все, что осталось от содержимого трех почтовых мешков. Казалось бы, мне следует ликовать, ведь это — подтверждение теории выбрасывания, результат моих многолетних исследований; но почему-то я не ликую. Оказаться правым — это далеко не всегда повод для радости.

Когда вахтер уходит, остается еще проверить большую кучу печатного мусора — не затерялось ли в ней замаскированное письмо с неправильной маркой или счет, отправленный как печатная листовка. Почти всегда эта работа оказывается излишней, так как в почтовом деле царит впечатляющая скрупулезность. Признаюсь, здесь мои расчеты

оказались неверны: я переоценил количество почтовых мошенников.

Изредка все-таки попадаетея какая-нибудь открытка или письмо, или маркированный как листовка счет, который я сразу не заметил; в половине десятого снова звоню вахтеру, и он разносит по отделам последние плоды моего скрупулезного исследования.

К этому времени мне уже пора подкрепиться. Жена вахтера приносит кофе, я достаю бутерброд из плоской алюминиевой коробки, завтракаю и болтаю с женой вахтера об их детишках. Ну что, у Альфреда уже получше с арифметикой? А у Гертруды получилось подтянуть правописание? С арифметикой у Альфреда лучше не стало, а вот Гертруда справилась с пробелами в правописании. Пospели ли помидоры, упитанны ли кролики, удался ли эксперимент с дынями? Помидоры не поспели, но кролики упитанные, а результаты эксперимента с дынями еще неясны. Нашему страстному обсуждению подлежат серьезные вопросы — следует ли хранить картошку в погребе; проблемы воспитания — нужно ли просвещать

детей или просвещаться самим, внимая их объяснениям.

Около одиннадцати жена вахтера уходит, обычно она просит меня оставить ей несколько туристических проспектов; она их собирает, и ее увлечение вызывает у меня улыбку, ведь с ними у меня связаны сентиментальные воспоминания: в детстве я тоже собирал туристические проспекты, добытые из отцовской бумажной корзины. Еще тогда меня беспокоило, что отец выбрасывает в корзину корреспонденцию, только что полученную от почтальона, даже не взглянув на нее. Такая привычка задевала мою врожденную склонность к экономии: ведь все это кто-то рисовал, сочинял, печатал, складывал в конверт, приклеивал марки, каждое отправление проходило по таинственным почтовым каналам и в конце концов доставлялось точно по нашему адресу; каждый такой конверт был окроплен потом художника, автора, печатника, почтальона; он стоил денег — на разных этапах и по разным тарифам; и все это лишь для того, чтобы отправить его в корзину, даже не удостоив взглядом?

Уже в одиннадцать лет я взял за обыкновение, как только отец уходил на работу, доставать выброшенное из корзины, рассматривать, сортировать и складывать в сундук, где хранились мои игрушки. Таким образом, уже к двенадцати годам у меня была внушительная коллекция рекламы рислинга, каталогов искусственного меда и истории искусств, а мое собрание туристических проспектов не уступало географической энциклопедии: Далмация была мне столь же знакомой, как фьорды Норвегии; Шотландия — такой же близкой, как Закопане*; богемские леса успокаивали меня так же, как волновали атлантические волны. Мне предлагали шарнирные петли, особняки и кнопки; партии просили меня проголосовать за них, а фонды — денег; лотереи сулили мне богатство, секты — бедность. Предоставлю фантазии читателя вообразить, какова была моя коллекция, когда мне исполнилось семнадцать, и, внезапно пресытившись, я отнес все это богат-

* Небольшой город на юге Польши, в Татрах, туристический и горнолыжный центр.

ство старьевщику, который заплатил мне семь марок шестьдесят пфеннигов.

Получив к тому времени среднее образование, я пошел по стопам отца и занес ногу на первую ступеньку лестницы, ведущей к руководящим постам.

На вырученные семь марок шестьдесят пфеннигов я купил пачку миллиметровой бумаги, три цветных карандаша и попытался начать карьеру в управлении, что оказалось лишь болезненным отклонением от верного курса, так как я только играл роль несчастного помощника руководителя, пока во мне дремал счастливый выбрасыватель. Все свободное время я тратил на подробнейшие вычисления. Секундомер, карандаш, логарифмическая линейка и миллиметровка стали атрибутами моей страсти; я высчитывал, сколько времени требуется, чтобы распечатать и бегло просмотреть печатное издание малого, среднего, большого объема, иллюстрированное, неиллюстрированное, убедиться в его бесполезности и выбросить в мусорную корзину; этот процесс занимает от пяти до двадцати пяти секунд; если же издание привлекает внимание — тек-

стом или иллюстрациями, — счет идет уже на минуты, а то и на четверти часа. Вступая в фиктивные переговоры с типографиями, я рассчитал и минимальные затраты на производство таких изданий. Я без устали проверял результаты своих исследований, уточнял их (лишь на третий год меня осенило, что время уборщиц, которое они тратят на опорожнение бумажных корзин, тоже нужно учитывать в расчетах); применял полученные показатели к работе предприятий, на которых заняты десять, двадцать, сто, тысяча и более сотрудников, и пришел к таким выводам, которые любой эксперт-экономист без сомнений назвал бы тревожными.

Желая проявить лояльность, я предложил свои познания в первую очередь своему начальству; однако, хоть я и предвидел неблагодарность, меня ужаснул масштаб этой неблагодарности; меня обвинили в халатности на работе, стали подозревать в нигилизме, объявили душевнобольным и уволили; к огорчению моих родителей, я отказался от этой многообещающей карьеры, начал новую, оставил и ее, покинул

родительский очаг и зажил — как уже было сказано — жизнью непризнанного гения. Я упивался унижением от тщетных попыток внедрить мое изобретение, четыре года блаженствовал вне общества и был столь последователен, что в центральной картотеке мою перфокарту, давно уже пробитую в графе «душевнобольной», проштамповали еще и меткой «асоциален».

Учитывая такие обстоятельства, любой сразу же поймет, в какой ужас я пришел, когда кому-то, а именно — директору «Убии», наконец стала очевидна вся очевидность моих выводов; как же глубоко ранила меня необходимость носить галстук зеленоватого оттенка, однако я вынужден продолжать этот маскарад и идти все дальше, поскольку боюсь разоблачения. Внутренне содрогаясь, я стараюсь придать лицу правильное выражение, когда смеюсь над шуткой про Шлиффена, ведь нет на свете людей более тщеславных, чем шутники, заполняющие трамвай по утрам. Иногда я опасаясь, что в вагоне, быть может, полно людей, накануне проделавших ту работу, плоды которой я уничтожу этим же утром:

печатники, наборщики, художники, авторы рекламных текстов, чертежники, укладчицы, упаковщицы, подсобники в самых разных отраслях — ведь ежедневно с восьми до половины девятого утра я беспощадно уничтожаю продукцию достойных бумажных комбинатов, уважаемых типографий, произведения гениев графики, одаренных писателей; лаковая бумага, глянцевая бумага, ракельная глубокая печать — все это я без малейшего сожаления увязываю в аккуратные пачки макулатуры прямо в том виде, в каком достаю из почтовых мешков. За один час я уничтожаю результаты двухсот человеко-часов труда и экономлю сотню человеко-часов «Убии», так что в итоге выдаю (здесь придется прибегнуть к моему собственному жаргону) концентрат 1:300. Когда жена вахтера уходит, прихватив пустой кофейник и туристические проспекты, я заканчиваю свой рабочий день. Мою руки, меняю халат на пиджак, беру утреннюю газету и через служебный вход покидаю здание «Убии». Слоняясь по городу, я размышляю, как бы мне улизнуть от тактики и вернуться к стратегии. То, что пьянило, будучи формулой,

разочаровало меня, оказавшись так легко выполнимым на деле. Следовать опробованной мною стратегии могут и подсобники. Пожалуй, я открою школы выбрасывателей. Может, даже попробую внедрить выбрасывателей в почтовые отделения, а если получится, то и в типографии; можно было бы найти лучшее применение массе энергии, материалов и интеллектуальных ресурсов, сэкономить огромные суммы на почтовых расходах; возможно, даже получится добиться того, что рекламные проспекты хотя и продолжают придумывать, рисовать, сочинять, но печатать их больше не будут. Все эти проблемы еще требуют тщательных исследований.

Однако выбрасывание почты как такое меня уже почти не интересует; все, что в нем еще можно усовершенствовать, следует из базовой формулы. Уже давно меня занимают расчеты, относящиеся к оберточной бумаге и упаковке: это же непаханое поле деятельности, где ничего не предпринималось, вот где передо мной открывается возможность избавить человечество от бесполезных усилий, от которых оно изны-

вает. Ежедневно совершаются миллиарды выбрасывательных движений, растрачивается столько энергии, что, направив ее в нужное русло, можно было бы изменить лицо Земли. Очень важно получить разрешение на проведение экспериментов в торговых центрах; следует ли совсем отказаться от упаковки или же поставить рядом с упаковочным столом обученного выбрасывателя, который будет распаковывать только что упакованные покупки и тут же складывать оберточную бумагу в макулатуру? Вот какие вопросы взывают о решении. Кстати говоря, я заметил, что во многих магазинах покупатели прямо-таки умоляют не упаковывать купленную вещь, но их заставляют смириться. В психиатрических клиниках отмечается рост числа пациентов, у которых случился припадок при попытке распаковать флакон духов, коробку конфет или пачку сигарет, и сейчас я подробно разбираю случай одного молодого человека из моего района: он зарабатывал на жизнь тяжким трудом литературного критика, но иногда не мог выполнять свою работу, так как, когда ему присылали новую книгу, у него не получа-

лось снять с бандероли плетеную бечевку, и даже если бы у него хватило на это сил, он не сумел бы разорвать толстый слой влагостойкой бумаги, которой обклеен гофрокартон. Нервы у этого молодого человека явно расшатались, и он начал писать о книгах, вовсе их не читая, а бандероли ставил на книжную полку, не распаковывая. Предоставляю фантазии читателя вообразить, какое влияние на нашу духовную жизнь мог бы оказать этот случай.

Гуляя по городу с одиннадцати до часу дня, я подмечаю множество мелочей; незаметно захожу в торговые центры и наблюдаю за упаковочными столами; останавливаюсь у табачных лавок и аптек, понемногу собирая статистику; время от времени я что-нибудь покупаю, дабы потом самому пройти бессмысленную процедуру и выяснить, сколько усилий требуется, чтобы наконец добраться до желанной покупки.

Вот так с одиннадцати до часу дня, в безупречном костюме, я завершаю образ человека, достаточно состоятельного, чтобы позволить себе немного праздности; образ человека, который около часа дня заходит в

маленький приличный ресторанчик, с рассеянным видом выбирает из меню лучшие блюда и начинает что-то записывать на салфетке — не то биржевые курсы, не то лирические наброски; который умеет похвалить или раскритиковать качество мяса со знанием дела, так что и самый опытный официант признает в нем истинного гурмана, а выбирая десерт, чуть капризно колеблется между сыром, пирогом и мороженым; который наконец столь энергично ставит точку на салфетке, что не остается никаких сомнений: записывал он все-таки биржевые курсы. Ужаснувшись результатам вычислений, я выхожу из ресторанчика. Лицо мое обретает все большую задумчивость, пока я присматриваю какое-нибудь уютное кафе, где можно посидеть до трех и почитать вечернюю газету. В три часа я снова прохожу через служебный вход в здание «Убии» и разбираюсь с дневной почтой, в которой почти без исключения сплошь печатный мусор. На то, чтобы выудить из него десять или двенадцать писем, у меня уходит менее четверти часа; после этого мне даже не нужно мыть руки, я просто отряхиваю их, заносу письма

вахтеру, выхожу из здания и на Мариенплац сажусь в трамвай, радуясь, что на обратном пути не придется смеяться над шуткой про Шлиффена. Когда за окном появляется темный брезент проезжающего фургона, я смотрю на свое отражение — теперь лицо у меня расслабленное, то есть задумчивое, почти отрешенное — и наслаждаюсь тем, что мне не нужно надевать маску, ведь никто из утренних пассажиров не заканчивает работу так рано. Я выхожу на Роонштрассе, покупаю несколько свежих булочек, кусок сыра или колбасы, молотый кофе и поднимаюсь в свою маленькую квартирку, стены которой увешаны графиками с волнующими кривыми; между осями абсцисс и ординат в глаза бросаются лихорадочные линии, стремящиеся все выше: ни один из моих графиков не идет вниз, ни одна из формул не сулит мне успокоения. Изнывая под гнетом собственной экономической фантазии, пока вода в кофейнике еще не закипела, я раскладываю на столе логарифмическую линейку, свои записки, карандаш и чистую бумагу.

Квартирка моя обставлена скудно, она скорее похожа на лабораторию. Кофе я

пью стоя, быстренько уминаю бутерброд — теперь я уж совсем не тот гурман, каким был еще в обед. Мою руки, закуриваю сигарету, запускаю секундомер и начинаю распаковывать успокоительное, которое купил до обеда во время прогулки по городу: внешний слой оберточной бумаги, целлофановый пакет, коробочка, внутренний слой оберточной бумаги, резинкой прикреплена инструкция — тридцать семь секунд! При распаковке я нанес нервной системе больший урон, чем принесет пользы это лекарство! Но возможно, тому имеются субъективные причины, которые я не собираюсь принимать во внимание при расчетах. Совершенно ясно, что упаковка здесь имеет большую ценность, чем содержимое, и что цена этих двадцати пяти желтоватых таблеток не подлежит никакому сравнению с их реальной ценностью. Однако эти соображения могут завести меня в область морали, а я принципиально не желаю связываться с моралью. Интересы мои сосредоточены исключительно на экономической составляющей.

Многочисленные покупки ждут, чтобы я их распаковал, множество листков пред-

стоит исписать; зеленая, красная, синяя тушь — все готово к делу. Обычно я работаю допоздна, а когда наконец ложусь спать, меня все еще преследуют формулы, целые планеты бесполезной бумаги прокатываются по мне; некоторые формулы взрываются, словно динамит, грохот от взрывов подобен оглушительному хохоту — моему собственному смеху над шуткой про Шлиффена, смеху от страха перед этим остряком из городской администрации. Вдруг у него есть доступ к картотеке, вдруг он нашел мою карточку и увидел, что на ней есть не только пометка «душевнобольной», но и другая, более опасная — «асоциален». Ведь такую крошечную дырочку в перфокарте залатать труднее, чем любую иную. Возможно, мой смех над этой шуткой — цена за анонимность. Мне не хотелось бы говорить вслух то, что более-менее получается на письме: что я — выбрасыватель.

СОДЕРЖАНИЕ

Молчание доктора Мурке. <i>Перевод С. Фридлянд</i>	5
Не только под Рождество. <i>Перевод С. Фридлянд</i> . . .	53
Что-то произойдет. <i>Перевод А. Кабисова</i>	103
Столичный дневник. <i>Перевод Л. Черной</i>	115
Выбрасыватель. <i>Перевод А. Кабисова</i>	135

Бёлль Г.

Б 43 Молчание доктора Мурке : рассказы / Генрих Бёлль; пер. с нем. С. Фридлянд, Л. Черной, А. Кабисова. — Москва: Текст, 2015. — 155 [5] с.

ISBN 978-5-7516-1275-7

«Текст» в шестой раз публикует произведения великого немецкого писателя, лауреата Нобелевской премии по литературе Генриха Бёлля (1917–1985). До этого в издательстве выходили «Письма с войны», романы «Крест без любви», «Ангел молчал», сборники рассказов «Кашель на концерте» и «Бешеный Пес». В книгу «Молчание доктора Мурке» вошли иронические рассказы, герои которых живут в гротескном мире, исполненном комических и грустных ситуаций. Упомянем лишь одну старую даму, которая круглый год каждый вечер встречает Рождество и требует от близких и друзей делить с ней этот праздник...

УДК 821.112.2
ББК 84(4Гем)

Генрих Бёлль
МОЛЧАНИЕ
ДОКТОРА МУРКЕ

Иронические
рассказы

Редактор Ю. Зварич
Корректор Т. Калинина
Оформление А. Ивашенко

Подписано в печать 18.04.15. Формат 70 x 100/32.
Усл. печ. л. 6,5. Тираж 2000 экз.
Изд. № 1231. Заказ № 7609

Издательство «Текст»
127299 Москва, ул. Космонавта Волкова, д. 7
Тел./факс: (499) 150-04-82
E-mail: text@textpubl.ru; www.textpubl.ru

Отпечатано с электронных носителей издательства.
ОАО «Тверской полиграфический комбинат». 170024, г. Тверь, пр-т Ленина, 5.
Телефон: (4822) 44-52-03, 44-50-34, Телефон/факс: (4822) 44-42-15.
Home page – www.tverpk.ru Электронная почта (E-mail) sales@tverpk.ru





**КНИГИ
ИЗДАТЕЛЬСТВА
«ТЕКСТ»**

Оптовая и розничная торговля:
127299 Москва, ул. Космонавта Волкова, 7
Тел./факс: (499) 156-42-02

**В Москве книги «Текста»
можно купить в магазинах:**

Дом книги «Молодая гвардия»
Большая Полянка, 28

Московский дом книги
Новый Арбат, 8

Торговый дом «Библио-Глобус»
Мясницкая, 6

Торговый дом книги «Москва»
Тверская, 8

«Фаланстер»

Малый Гнездниковский пер., 12/27, стр. 3

Продажа книг через Интернет:

www.ozon.ru

www.labyrinth-shop.ru

Каждый, кто пишет заметку для газеты или заносит стихотворную строку на лист бумаги, должен знать, что он приводит в движение целые миры.

Генрих Бёль

Если о Тургеневе говорили, что он самый немецкий из русских писателей, то о Бёлле можно было бы сказать, что он самый русский из немецких писателей, хотя он очень «немецкий» писатель.

Лев Копелев

